

АНТОН
ПОНИЗОВСКИЙ

Тебя
все
ждут

роман

18+

СЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНА

Антон Владимирович Понизовский

Тебя все ждут

Серия «Большая проза»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69193831

Тебя все ждут: Издательство АСТ; Москва; 2023

ISBN 978-5-17-155670-9

Аннотация

Непутёвый актёр получает волшебное предложение, «роль мечты». В недрах Останкинского Телецентра снимается сериал «Дом Орловых»: красавицы, кавалергарды, фраки и белые платья, мазурки, дуэли... Но главный враг притаился за кадром – тот, в чьих руках все сценарные нити. Выживет ли марионетка в неравной борьбе с кукловодом?

Антон Понизовский – автор романов «Обращение в слух» и «Принц инкогнито», финалист премии «Большая книга».

В книге присутствует нецензурная брань!

Роман печатается с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

Содержание

Первый том	5
Первая часть	6
1	15
2	23
3	33
4	39
5	45
6	55
7	64
Вторая часть	81
1	81
2	88
3	95
4	102
5	109
6	115
7	125
8	133
9	144
10	153
Конец ознакомительного фрагмента.	157

АНТОН ПОНИЗОВСКИЙ

Тебя все ждут

© Понизовский А.В.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Первый том

*Есть высокая гора,
В ней глубокая нора*
Пушкин

Первая часть

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

Не оставляйте ей выбора.

По-английски всегда короче и чётче: No choice.

Заставьте смотреть. Зацепите. Если вы не удержите её у экрана девять секунд, все ваши труды пойдут прахом.

Сразу же дайте главное обещание. Покажите красавца – и не на ваш собственный вкус, не на мой вкус красавца, а на вкус среднестатистической тётки в халате, пятьдесят пять плюс. Покажите ей крупного, статного, молодого... Вообще-то ему уже тридцать восемь, но выглядит он свежо: щёки кровь с молоком, кудри русые, глаза, естественно, голубые. Красавец в белой открытой рубашке, пушкинско-мушкетёрско-гардемаринской, в обтягивающих панталонах. Смотрит вверх, в потолок, прямо в камеру – так что тётке, застывшей перед экраном со сковородкой, кажется, что он смотрит именно на неё, снизу вверх. Многообещающий ракурс.

Быстрее, осталось семь с половиной секунд.

В руке у него перо – большое, гусиное, настоящее. Он проводит этим пером по нижней губе – туда оно скользит гладко, а обратно цепляется за губу, топорщится – чтобы зрительница обратила внимание на его губы: полные, ярко очерчен-

ные; верхняя – с трогательным треугольным клювиком. Если дать тётке ещё полсекунды, она, возможно, заметит, что прядничной красоте чего-то недостаёт: он будто бы не до конца наведён на резкость, слегка не в фокусе – поэтому эти лишние полсекунды вы ей не даёте. Красавец обмакивает перо в чернильницу и, склоняясь над страницей, пишет, как бы в порыве внезапного вдохновения. Перо скрипит.

Разумеется, вы не покажете тётке, что в бронзовой антикварной чернильнице сухо. Иначе балбес всё заляпал бы, и рубаху свою псевдопушкинскую заляпал: он не умеет писать пером. Начали было учить, наняли специального преподавателя, но доучить не успели. Скрип пера подложен из библиотеки шумов, а под перьевым наконечником спрятан обычный шариковый стержень.

Что он пишет, не видно. Стихи, думает тётка со сковородкой. Кому? По логике, той, кому заглядывал в глаза снизу... Он любит меня, балбес, нежно думает тётка. Ляжки в лосинах чуть полноваты, но ничего.

Дело сделано, месседж послан. Можете ли вы коротко сформулировать этот месседж? А одним словом можете? Ну конечно. «ЛЮБОВЬ». Тётка со сковородкой хочет смотреть про любовь, и она смотреть будет. Значит, вы всё сделали правильно – и в девять секунд уложились с запасом. Мои поздравления.

Теперь, поскольку этот небольшой запас времени тоже необходимо потратить с толком, вы можете очертить сет-

тинг, сиречь вселенную, в которую тётке захочется погрузиться, забыть про свои сковородки и про бухгалтерию, где она дорабатывает до пенсии. Вот, пожалуйста, ссылочка на заставку «Дома Орловых»: виньетки, люстры, паркет, позолота, белые платья, мундиры, кавалергарды... Деятнадцатый век: Пушкин, первый бал Наташи Ростовской, вот это всё. Любовь в девятнадцатом веке. Пока достаточно.

ВСЕЛЕННАЯ РАСШИРЯЕТСЯ

Достаточно – но не для вас. Вы-то сами – не тётка со сковородкой (даже если вы тётка со сковородкой).

Вы знаете, что кудрявый муфлон в лосинах – второразрядный актёр, что в чернильнице пусто, что весь девятнадцатый век снят в одной декорации, в одном-единственном, хотя и очень большом, павильоне.

Что мне делать, если семейные саги наводят на вас тоску?

Да, вы в курсе, что «Дом Орловых» – это самый успешный российский проект телесезона 2021/22, прорывный способ работы с актёрами в реальном времени и поразительный человеческий эксперимент. Да, вам интересно, как всё это было устроено. И да, конечно, вам хочется повторить и превзойти мой успех, вам, как и мне, нужны рейтинги. Но вы ничего не можете с собой поделатъ, от мелодрам вас тошнит и перспектива застрять в павильоне «Дома Орловых» среди фраков, лосин, причёсок а-ля девятнадцатый век, локо-

нов, ахов, вздохов и позолоченного пенопласта вызывает у вас клаустрофобию. Ваши чувства изношены, притуплены профессией, но они всё же есть, вы живой человек.

Что мне такого сделать, чтобы вы прочитали этот учебник не только по необходимости, а с интересом?

Думаю, провести небольшую экскурсию.

Вы помните, что декорация «Дома Орловых» была смонтирована в АСБ-29¹ – в самой большой эфирной студии Останкинского Телецентра.

Если вы проведёте в здании Телецентра хотя бы несколько дней, то в какой-то момент вас коснётся странное чувство безжизненности. Скорее всего, это произойдёт поздним вечером, когда опустеют останкинские коридоры.

В одном из писем А. Ю. Орлов (тот самый балбес в лосинах) упоминает коридор третьего этажа, который тянется вдоль телецентровского фасада почти что на полкилометра. Он кажется бесконечным, по правой стороне закрытые пронумерованные двери – почему это зрелище так угнетает? Может быть, потому, что для человека естественно находиться в доме, где комнаты можно пересчитать по пальцам. Одна-единственная закрытая дверь – уже источник тревоги: вдруг в этой комнате Синяя Борода прячет мёртвое тело?

Закрытая дверь – как зудение зуммера, но когда этих зум-

¹ АСБ – аппаратно-студийный блок телевидения, состоящий из режиссёрской аппаратной и собственно студии, или павильона. (Здесь и далее примечания, равно как и фрагменты основного текста, помеченные значком, принадлежат шоураннеру.)

меров сотни, тревога не возрастает, а наоборот, притупляется. Такого же рода апатия и тоска охватывает посетителя любой большой канцелярии или тем более министерства. Представьте себе МИД, высотку, двадцать семь этажей офисов и подсобок. Теперь положите эту высотку горизонтально. Телецентр больше в два с половиной раза: кубатура высотки – 400 тыс. м³, объём «Останкино» – более миллиона кубических метров.

При этом Останкинский Телецентр – не обычное министерство. От коридоров отходит множество ответвлений, и если вы двинетесь внутрь, заплутаете в этих проходах, пазухах, закоулках, наугад выберете дверь, наляжете на поворотный рычаг, дверь неохотно откроется, вы заглянете в тёмную студию или в техническое помещение... и увидите, что Телецентр – это огромный завод: студии – те же цеха, а телекамеры, краны и осветительные приборы – те же станки и турбины; здесь тоже пахнет нагретым железом, резиной, горелой пылью, а за пределами студий вы постоянно слышите очень далёкого, но гигантского комара или пчелу: это жужжат доисторические кондиционеры, собранные, как я читал, зэками на Домодедовском машстройзаводе в 1960-х годах, отмотавшие четыре срока и продолжающие гудеть и дрожать.

Вот у нас уже есть набросок художественного решения: пустой коридор уходит в тусклую бесконечность, как в дымку; по правой стороне – двери, двери, сотни дверей; камера очень медленно движется – не для того, чтобы миновать ко-

ридор, а наоборот, чтобы усилить ощущение безвыходности; висит фоновый гул...

И всё же любой настоящий завод, Домодедовский ли машиностроительный, Магнитогорский ли металлургический, как бы он ни пугал и ни подавлял нас, утончённых работников кино- и телеискусства, какие бы звероподобные заключённые там ни работали, любой действующий завод – это всё же некая очевидность, целесообразность. Завод производит что-то реальное и, в этом смысле, живое.

А что производит Останкинский Телецентр?

Вообразим себе окна многоквартирных домов, подслеповатое голубое мерцание в этих окнах. Но даже экраны, жидкокристаллические дисплеи собраны не в Останкино, а в Китае, в Корее, в Калининграде. Телецентр производит лишь образы, изображения на экранах, мелькающие на одну двадцать пятую долю секунды и исчезающие навсегда. Останкино – все эти горы металла, цеха, склады, *тихие зоны*, эфирные АСБ, заключённые в звуконепроницаемые пружинные саркофаги: вы знаете? некоторые из таких студий способны выдержать землетрясение, чуть ли не атомный взрыв – не пошатнувшись, не моргнув объективом... – но что, собственно, здесь производится? Пустота.

Пустота плюс тщеславие.

Может быть, именно в этом причина странного изнеможения, которое настигает в останкинских коридорах. Не дешёвая мистика (мол, построено на месте кладбища, на костях,

на останках – отсюда «Останкино»), не зомбирующее излучение, про которое любят шутить сотрудники Телецентра, и даже не электромагнитный фон, действительно очень высокий, оттого что всё здание нашпиговано проводами, – нет: я думаю, это душевное оцепенение перед лицом... точнее, перед безликостью пустоты.

Даже воздух тут неживой, неподвижный, пустой, как дистиллированная вода, без вкуса, без запаха. Им нельзя надышаться.

ПЕРЕХОД ХОДА

И вот вместо тупой мелодрамы мы получаем своеобразный жанровый сэндвич: костюмная сага плюс... как назовём?.. ну, навскидку, без лишней скромности – пусть будет экзистенциальный триллер.

ОК. Но мы же с вами не просто болтаем, мы учимся мыслить картинкой. Набросаем сценарий рекламного ролика.

...Нет, я не имею в виду трейлер «Дома Орловых», этих роликов было полно (см. ссылок в приложении) – давайте представим трейлер учебника, вот этого, который у вас в руках. Я предложил вам два образа: сладкий, яркий, пышущий жизнью муфлон в лосинах – и безжизненный выморочный коридор Телецентра. Как мы два эти образа соединим?

Подумайте пару минут. Запишите то, что придумали.

Теперь сравните с моим вариантом.

Каким бы сложным ни было моё отношение к К. З. Тодуа, его афоризмы частенько приходятся кстати – сейчас, например, такой: «Кратчайшее расстояние между точками – это прямая».

Вернёмся к первой картинке. Наш кудрявый балбес поднимает глаза к потолку. Мы следуем за его взглядом и видим на потолке правильные ряды пятнышек. Приближаемся и различаем, что это не шляпки гвоздей, а крошечные объективы – каждый не больше, чем объектив смартфона... Бац! мы уже внутри объектива, как в глазном хрусталике, и видим героя внизу искривлённым, как через выпуклое стекло. Проламываем потолок (можно подкрепить движение треском гипсокартона) и поднимаемся над декорацией.

Осветительные приборы, фермы под потолком – у Орлова мы встретим подробное описание. Важно ощутить размер студии, почти двадцать тысяч кубических метров. Усилим контрастность: провалим всю студию в темноту и на фоне сплошного чёрного космоса дадим яркие стрельчатые лучи прожекторов, как рефлекторы в операционной.

Не замедляем движение камеры! С ходу врезаемся в стену АСБ-29: прогрызаем звукопоглощающую обшивку, проламываем бетон (с шумом сыплется крошка) – и оказываемся во внутренностях межэтажного перекрытия: трубы, трубки, трахеи, артерии, провода, разноцветные, как на схеме в анатомическом атласе, узлы, сплетения, связки, волокна... Скользим вдоль проводов с электрическим звуком (на самом

деле, такого звука не существует – но ведь какой-то звук в вашей фантазии связан с электричеством: потрескивание? гудение? Когда нет времени, стереотипы прекрасно работают, используем не стесняясь: звук нужен секунды на полторы). Пробуя сквозь этажи, выскакиваем в коридор – тот самый, ранее мной описанный коридор, вечерний, пустынный, тусклый. Далеко впереди в расфокусе – человеческая фигурка.

Чтобы усилить ощущение скорости, используем доли²: продолжая быстро двигаться по горизонтали, одновременно взлетаем с уровня пола на высоту человеческого роста. Приближаясь, мы видим, что человек стоит, упершись в стену руками и лбом, ему явно нехорошо. На нём джинсы, чуть мешковатые, поношенная тёплая куртка. Сразу считывается: на улице поздняя осень или зима, человек небогат, возраст средний, волосы русые... Ба! Да ведь это муфлон! Только выглядит он гораздо, гораздо бледнее, чем давеча в студии: какой-то помятый, потасканный...

Ну всё, дальше рассматривать некогда, я лишь успеваю крикнуть вдогонку, что это действительно наш герой за четыре часа до того, как он впервые попал на съёмочную площадку «Дома Орловых»: с разгону мы вклиниваемся ему в голову – Δ! И дальше – везде, где фигурирует треугольник Δ, – звучит уже не мой скрипучий голос, а бархатный бари-

² Dolly – операторская тележка (англ.). В письмах А. Ю. Орлова встречается архаичный термин «кран-тележка».

1

Весь измотанный, измочаленный, подхожу к аппаратной озвучки – и вдруг меня вбок повело, повело, ноги подмялись, перед глазами метеоритный дождь... Упёрся ладонями в стену, ногой, лбом прижался – хорошо не упал. Постоял, подышал, пока метеориты иссякли. Посмотрел туда-сюда по коридору: никого, пусто, вроде никто не видел. Только камера на потолке.

От стены отлепился, кое-как дотащился до аппаратной, рычаг повернул...

Вы себе представляете студию озвучания?

Дверь: массивная, тяжеленная, с круговым рычагом, как люк на подводной лодке.

Вхожу, задвигаю за собой дверцу, поворачиваю рычаг – и протискиваюсь между стеной и столом: каморка крошечная, как шкаф. А я всё-таки парень крупный. Втиснулся кое-как, упаковался, как в гробик. Включил лампу. Говорю звукооператору: сейчас, отдышусь, погоди... Воды принеси мне.

Телефон выключил, чтобы не было наводок на микрофон.

Закрыв глаза. Полная тишина, как в норе. И одно желание: побыть так подольше, и чтобы никто меня не искал. Ни долгов, ни звонков, ни анализов, ничего...

Накануне пил, да. Даже оправдываться не буду: пил. Проснулся ни свет ни заря, реакция на алкоголь. Знаете эту французскую горчицу, с зёрнышками? Вот и у меня в голове такое... пюре.

С утра поехал в Гематологический центр, в башню Мордора. Всё в стекле, в синих лампочках, все с иголки, разговаривают очень вежливо. Вот анализы вашего сына, к сожалению, то-то и то-то, гарантировать ничего не можем, но можем попробовать это и то, вот, пожалуйста, план лечения, информированное согласие, вот цена.

У них у самих язык не поворачивается произнести эти суммы, они выкладывают бумажки. Бумажки красивые, глянцевые, цветные, внизу длинные цифры с точками и запятыми. Я не впускаю эти цифры в сознание, я даже не считаю число знаков. Как сон.

Интересно, они понимают, сколько зарабатывает обычный средний актёр? Может, видели молодого меня в сериале пятнадцатилетней давности: сейчас повторяют все эти древние сериалы на мелких канальчиках... То есть морда смутно знакомая. Может быть. Но ведь знают, что я не звезда. Понимают они, что я этих денег не заработаю за двадцать лет, за всю жизнь? Мне кажется, понимают. Глядят с некоторой опаской.

Допустим, квартиру мы продаём. На две первые строчки может хватить. А дальше?

Я солидно киваю, обещаю в ближайшее время принять ре-

шение и ухажу с высоко поднятым подбородком.

Дальше еду в агентство. Это просто чтобы вы представляли мой день. И вообще мою жизнь до того, как я тут оказался. В агентстве тоже сижу два часа, пью чай из пакетика, жду, пока подготовят бумажки переподписать... А чего сижу? Какого толку в этих бумажках? В Голливуд меня что-то никто не зовёт. И в рекламу последний раз звали два года назад. Есть актёры поярче, поинтереснее. Помоложе.

Раньше они в агентстве хоть как-то оправдывались, а теперь только фыркают: «Сами знаете, время какое. Вот здесь и здесь подпишите» – и всё. Я говорю, может быть, фотографии обновим? Они смотрят мне ясно в глаза и спрашивают: зачем? Смысл такой, что вы с возрастом в лучшую сторону не меняетесь, так что уж оставьте какие есть.

И самое муторное – то, что я так неприлично долго откладывал, – всё-таки пришлось ехать к Камилю Файзуллину. Вы его знаете, он играет Мишеля.

Год назад, когда нам сообщили диагноз Сей Сеича, я побежал по всем знакомым, полужанкомым... Вы когда-нибудь занимали большие деньги? Вы знаете, как меняется тон, как меняется лицо дающего деньги? Не дай вам бог. Или Бог полагается с большой буквы?

Вот Камиль – вроде давно в Москве, выговор чистый, только будто бы обезжиренный, как у всех, кто переучивался, перестраивал речевой аппарат; казалось бы, всё татарское прошлое вытравлено давным-давно – а когда деньги считал,

я прямо увидел на нём полосатый халат, жирное горло над этим халатом и специфическую восточную как бы полупрозрачную плёночку на глазах, и пухлые пальчики отсчитывают-отсчитывают и немножко как бы приостановились: хватит? Или дать ещё? Чистый бай. А я, значит, батрак в отрёпках.

На самом деле, дал неожиданно много, семь тысяч долларов. Он только что купил пятикомнатную квартиру на Шелепихинской набережной. Клубный дом «Театрал». Прямо под окнами – Театр Целмса, синий стеклянный купол. Камиль хвастался, что актёрам дали большие скидки. Точных сумм не назвал, но я понял, что он потратил меньше, чем собирался, остался жирок. В общем, я попал в самый лучший момент. За синим куполом – Москварика, пароходики плавают... Жизнь удалась.

Но Камиль строго-настрого предупредил: на нём вся родня в городе Энгельсе, так что даёт на три месяца. Максимум на четыре. Бай добрый, но принципиальный.

Пролетели полгода, а возвращать-то мне не из чего. Ну, тысячу могу вернуть, максимум тысячу двести. Тяну ещё месяц, тяну другой...

Вот вчера и напился. С винцом в груди и жаждой вместе, поникнув гордой головой, сижу пред Камилем, оправдываюсь, а потом говорю с надрывом:

– Ну что мне, почку продать?! Так никто ведь не купит. Только если печень на фуагра... Камиль, – говорю, – драго-

ценный мой человек! Закажи меня!

Надрыв, может, слегка наиграл. Ну чуть-чуть, по актёрской привычке.

– У вас же есть, – говорю, – татарская мафия? Брык башка, секир кишка? Нету сил больше, Камиль, закажи меня, умоляю!

А он вдруг отвечает:

– Да я уже.

Без улыбки. Я опешил, потом засмеялся: говорю, молодец, сделал меня, я прямо поверил. А он не смеётся.

Потом еду сюда, в Телецентр, с опозданием на полтора часа, а в голове вертится: «Да я уже». Что он имел в виду?..

* * *

Повернулся рычаг, дверь открылась. Вошёл звукооператор, поставил пластиковый стаканчик с водой.

Звуковик незнакомый. Обычно здесь Галка или Танюшка. Я вспомнил, сегодня тридцатое ноября, то есть чётное. Спросил, где Танюшка. Он говорит:

– На больничном. Я подменяю.

В глаза не смотрит, какой-то белёсый, одутловатый – немного, кстати, похож на Камиля. Ну ладно, что делать, надо работать.

Озвучивать я люблю. Голос у меня богатый, это фамильное. И с возрастом делается только лучше, в отличие от все-

го остального.

Ещё мне нравится, что сидишь в своей удобной одежде, не напрягаешься, работаешь только голосом. В наушнике слышишь начитку («закадр», оригинальный звук), ловишь темп, интонацию. На экране картинка, внизу тайм-код – допустим, 00:13:56:22. Часы, минуты, секунды, кадры. Передо мной на столе распечатанный перевод, тоже с тайм-кодами: я читаю и одновременно слежу, чтобы не отставать и не забегать вперёд. Если поймать ритм, можно весь фильм начитать почти без остановок. Кабы ещё платили за это... Ну ладно.

В общем, работа несложная, когда без сюрпризов. Например, две недели назад в этой же аппаратной был случай. Я озвучивал фильм про орлов. Это французский сериал, «Птицы мира». Или наоборот, «В мире птиц». Вообще я люблю озвучивать про природу. Во-первых, умиротворяет. Никуда не торопишься, не суетишься, журчишь себе... И съёмки бывают просто невероятные.

Горная котловина как чаша; над скалами, над зазубренными резцами клубится дым, облака – и в замедленной съёмке орёл. Я не знаю, как они так снимают. Этот беркут (я-то думал, что беркут как раз небольшой, вроде ястреба, а оказалось, самый крупный орёл) – у него размах крыльев, перья распялены, и он, когда летит, на каждый взмах подтягивает свои когти и выпрямляет, как будто по воздуху перепрыгивает, длинными такими прыжками... Я начитываю перевод – и словно бы сам лечу, прыгаю, зависаю, парю. Вокруг

небо. Мои перья дрожат в воздушных потоках... Я же актёр, правильно? Я перевоплощаюсь. Становлюсь немного орлом. Тем более я Орлов...

Слушайте, только что пришла мысль – не тогда, а сейчас, когда я это пишу: может, они специально мне тогда подсунули про орлов?

Или это уже паранойя?..

Короче, начитываю я про этого беркута – две недели назад – и вдруг начинают пропадать куски текста. В *ушах* – в наушниках – за кадр идёт, а на бумаге нет русского перевода. Поискали, все странички перевернули, переворошили: в одном месте несколько фраз без перевода, в другом месте двадцать секунд потерялись, в третьем целой минуты нет... Я говорю Галке – тогда Галка работала, – давай сейчас закончим, пусть они там разберутся, потом вчитаем. Галка куда-то звонит начальству, ей говорят: ничего не знаем, завтра эфир, выкручивайтесь как хотите.

Я говорю: как они это себе представляют, «выкручивайтесь»? Я не биолог, не орнитолог, французского я не знаю... По-английски ещё хоть туда-сюда, могу по отдельным словам сообразить, а здесь вообще непонятно, где одно слово заканчивается – другое начинается, они говорят цельными мелодическими конструкциями. Да если бы даже и знал я французский – я же не переводчик, не синхронист, я актёр! Дайте текст – я прочту. Нет ножек – нет варенья.

Но Галка прямо взмолилась: мол, у неё уже с начальством

трения из-за ребёнка, она мать-одиночка, то уйти надо пораньше, то ещё что-то, премию не дадут, миленький, говорит, ты же сможешь, ты же звезда... А я сейчас думаю: может, Галка тоже была с ними заодно? «Премии не заплатят», какой-то бред ведь, да?..

Нет, не верю. Она не актриса, она бы так не сыграла. И просто хорошая девка, не стала бы меня подставлять. Тем более, она в курсе моей ситуации...

Короче, вы понимаете, мне симпатичная барышня, мать-одиночка, говорит «миленький, ты же сможешь». Я говорю: ладно, пробуем.

Где-то мне попадалось такое сравнение, образ – «яйцо, катящееся по нитке»: смысл в том, что каждую секунду должно упасть и разбиться, но катится, катится и не падает...

Вот так же и я с этим французским текстом: воркую что-то, леплю, помню, про рулевые перья... Не дай бог, думаю, услышит биолог какой-нибудь... Галка смеётся, а я же артист, когда меня хвалят, я расцветаю...

Ну отвратительно мало платят за эту работу. Позорно мало. Если представить ту адскую цифру из Гемоцентра как бочку или как ванну, то каждое озвучание – это даже не рюмка, это пипетка. Или полпипетки...

Тогда зачем вообще?

Я не знаю. А какие у меня варианты? Бросить? Лечь и не шевелиться? Запить? Если честно – я за. Но что дальше? Откажусь раз, другой – и всё, больше не позовут. Знаете, сколь-

ко кругом голодных актёров? И с каждым годом всё больше, и все талантливые, молодые...

А тут уже всё знакомо: третий этаж, коридор, дверь, рычаг, стены в дырочку, на столе лампа, под лампой кусок ковролина, чтобы листы не шуршали на гладком. Всё самое что ни на есть дешманское канцелярское, и стол, и лампа, – а микрофон на кронштейне внушительный, с сеточкой ветрозащиты, на микрофоне не сэкономили, и мне приятно, что мой голос звучит со всеми низами, обертонами... Сижуха прижатый столом, наушники, темнота, только стол освещён и странички под лампой, экран монитора – и постепенно внешняя жизнь глохнет, меркнет, я ближайšie три часа в мире птиц.

2

Вот наверняка вы не знаете, что в Намибии... или в Замбии, в Гамбии?.. Нет, кажется, всё же в Намибии живёт такая птичка – медоуказчик.

Если в радиусе двадцати, тридцати, пятидесяти километров гнездятся пчёлы, птичка их неизвестным науке способом чует. Аборигены внимательно смотрят, куда она полетит, идут вслед за птичкой, находят пчелиные гнёзда. Выкуривают оттуда пчёл, мёд забирают себе, а птичкам оставляют пустые соты. Потому что эти медоуказчики едят воск, из которого сделаны соты. Такой удивительный симбиоз птицы

и человека.

Но фильм не про симбиоз, а про – внимание! – каинизм. Это реальный научный термин: когда детёныш животного убивает своих братьев или сестёр. Называется синдром Каина, каинизм.

Больше чем половина фильма – съёмки через приборы ночного видения. Там ведь жарко, в условной Намибии, поэтому жизнь начинается вечером, как в актёрской семье. Помню кадры, когда в темноте какое-то копошение, земля сыплется, проседает – и из норы выползает маленькая землеройка. У неё хоботок неприличного вида, подвижный, и очень смешно усы торчат во все стороны. Камера ночного видения, если я правильно понимаю, реагирует на тепло: землеройка белёсая и похожа на привидение. Выцарапывается, выскребается из-под земли, тычется хоботком во все стороны, скрипит, цвиркает, потом нырк в темноту! – и исчезла.

Восходит солнце. Другая птичка – не медоуказчик, а... сейчас не помню, как называется, – роет норку, чтобы отложить туда яйца. Чтобы они на солнце не испеклись. Естественно, птица лапами роет глубокую длинную норку, как крот. Откладывает туда яйца и улетает.

Тогда уже знакомый нам медоуказчик проводит операцию внедрения. Ждёт, пока эта другая порядочная птица куда-нибудь упорхнёт по делам, быстренько залезает в чужую норку и откладывает там яйцо – своё. Рядом с яйцами пчело-

еда. Вспомнил! эта вторая птичка называется пчелоед. Видите, у них в Намибии всё как-то вертится вокруг пчёл...

Итак, мы видим в норе три яйца: два поменьше – законные, честно отложенные пчелоедом, и одно побольше – яйцо диверсанта-медуказчика. Пчелоед честный, но глупый, он не помнит, сколько яиц отложил, или не умеет считать до трёх, в общем, его эта ситуация не смущает.

Первым вылупливается (вылупляется?) птенец медуказчика. Он страшный, голый, волосики редкие, шейка тоненькая, а клюв – несоразмерно массивный и тяжеленный. Поэтому голова на жалкой шейке болтается туда-сюда. Авторы фильма особенно отмечали, что на этом клюве присутствует некий особый крючок, и называли этот крючок почему-то «мембранным». По-моему, это был какой-то дефект перевода.

Идиот пчелоед не понимает, что птенец чужой, кормит его усатыми африканскими насекомыми, а тот от жадности аж трясётся, жрёт эти ножки и крылышки и растёт не по дням, буквально, а по часам.

В детстве я читал сказку Чуковского «Бибигон», там главный герой попадает в гнездо, – и до сих пор помню детское отвращение: какие в этом гнезде были птенцы – безмозглые, жадные и жестокие.

Всё выглядит ещё замогильнее, когда снято на инфракрасную камеру, с зеленоватой подсветкой: норка в увеличении смотрится как пещера; песчинки и земляные катышки – как

валуны; травинки и корешки – кривые деревья, лианы, а птенец – абсолютно исчадие ада: голый череп с огромным клювом, на клюве этот зловещий крючок...

Вы помните, что в норе ещё два яйца, а там – будущие невинные жертвы. Проходит три дня, жуткий медоуказчик отъелся, окреп, на нём даже отросли зачатки будущих перьев – наконец, по яйцу ползёт трещина и... у меня кончился текст.

И ведь было же ощущение, когда читал, что слишком тонкая пачечка. Но я не думал об этом: внимание на экран. А страниц меньше, меньше, последняя... всё. Картинка есть, голос за кадром идёт, а письменного перевода нет. У меня полное дежавю. Та же студия, только две недели назад была Галка, а тут этот одутловатый. Я ему говорю: не может так быть, два раза в одну воронку.

Он говорит: почему, наоборот. И что-то такое втирает (я в студии, он за стеклом, то есть я слышу его в *ушах*), – втирает, надо сказать, довольно правдоподобно: мол, такая фигня у них через раз – именно с этими циклами про животных. Якобы эти программы по левой лицензии слили через какой-то Тайвань – то ли украли, то ли полуукрали...

И ноет, что делаем под эфир, что это для цифрового канала, его всё равно смотрит полтора инвалида, никто не заметит... что если сейчас не закончим, то он не сможет «закрыть наряд» или что-то такое же нудное... что через полчаса придут новости... ну ведь почти закончили уже...

А у меня даже нет сил как следует разозлиться. Я весь выжатый, я не ел целый день. Думаю: пропади оно пропадом. Что я теряю? Ну ошибусь. Ну скажу какую-нибудь ерунду. Ну и что?

Это тоже актёрское. Кто не играл на сцене, тем не понять. Когда ты перед залом, никто тебе не поможет. Всё держится на тебе. Провалишь роль – провалится весь спектакль. И в то же время полная невесомость. Как будто ныряешь в волну – и несёт. Если не новичок, а настоящий актёр – на сцене ты максимально расслаблен. Будто бы сквозь тебя идёт какой-то поток... может быть, поток времени, течение времени... не знаю, как объяснить.

Когда ты в таком состоянии невесомости, тебя сбить очень трудно. Даже если партнёр забыл текст, если, не знаю, стул под тобой подломился – ты в роли, в потоке. Ты просто живёшь в предложенных обстоятельствах. Слова сами приходят, не знаю откуда...

Я говорю:

– Слушай, как тебя?.. Вадик. Если я ошибусь, или тебе покажется, что я ошибся, запнулся, долго молчу – не останавливай. Если что-то не так, я вчитаю потом. А сейчас мы проходим всё до конца – одним дублем. Понял?

– Понял.

– Попить больше нет у тебя?

– Сходить?

– Нет, не надо. Дай послушать последние тридцать се-

кунд...

Французские эти рулады, а сверху – мой голос: «Птенцу медоуказчика три дня от роду, и мы уже видим первые признаки оперения...» Мне нравится, как я звучу.

Загорается красная лампочка! Запись. Я начинаю импровизировать:

– Посмотрите, какой мощный клюв...

Как они это называли?.. «Мембранный», «мембранный»!

– Обратите внимание на мембранный крючок. Этот загнутый хищный клюв похож на меч гладиатора...

Почему я так сказал? Наверно, вспомнил фильм «Гладиатор», в юности он произвёл сильное впечатление на мою неокрепшую психику...

– А вот два яйца, которые ещё целы. Но однажды по яйцу ползёт трещина, и на свет... точнее, наоборот, в подземные сумерки... в густых сумерках появляется...

Тьфу, затык! Опять забыл, как называется эта вторая птица!..

– ...появляется новое существо. Этот птенец гораздо меньше, почти вдвое меньше медоуказчика, который уже отъелся, набрался сил. Видите, какой мятый пух, беззащитная голая шейка... На клюве нет никакого крючка. Это птенец...

Чёрт, чёрт, как же его... что-то с мёдом... медосбора? медоеда?..

– ...пчелоеда! Птенец пчелоеда, законный наследник, ему

по праву принадлежит родовое поместье... Именно поэтому он – в смертельной опасности. Его враг, птенец медоуказчика, хочет, чтобы эта нора принадлежала ему одному. Чтобы ему доставалось всё родительское внимание, вся еда, все ресурсы. Птенец медоуказчика гораздо больше, гораздо мощнее. Как грозно он надувается, поднимает лопатки, как бы разводит крылья... будущие, ещё не существующие... растопыривает... Угрожающе смотрит на новорожденного пчелоеда, точно гипнотизирует... Исполдобья... Выжидает, чтобы тот сделал движение... Театральная пауза... Где же родители пчелоеда? Увы, их нет рядом, некому защитить... И вот! Новорождённый птенец ковыляет навстречу старшему брату. Он инстинктивно ищет защиту у более крупного... Роковая ошибка! Медоуказчик бросается на...

Как это называется: кровного? нет... молочного? названного?...

– ...на сводного брата! Как будто нажали на кнопку, включилась программа и заработал сценарий убийства, записанный в генах медоуказчика. Он подсакивает и яростно атакует, пуская в дело свой крючкообразный мембранный клюв, свой гладиаторский меч... Ох, какая ужасная сцена...

А сцена и впрямь ужасная. Отвратительное чудовище, трясась от ярости, с размаху долбит по темечку новорожденного ребёнка. И ещё, и ещё! Боже мой... Ничего себе кино про природу... Это детям показывают? У них есть возрастные ограничения? Я бы поставил двадцать один плюс.

В кадре зверски убивают младенца, нормально? И как это комментировать?

– Палящее африканское солнце не достигает... не проникает в мрачные подземные недра, где разворачивается эта драма... Даже не драма, трагедия самая настоящая... душераздирающая... Шекспир... Птенец пчелоеда пытается спастись бегством... Но в узкой подземной...

Норе? Коридоре? Кишке?

– ...траншее – у него нет манёвра, ему некуда деться. Он лишь облегчает убийце задачу. Медоуказчик легко настигает его и сзади...

Самое жалкое и ужасное – этот маленький не сопротивляется, а, наоборот, будто сам помогает мучителю: наклоняется, опускает голову, чтобы тому было ещё удобнее...

В нашей актёрской профессии есть такое понятие, как «пристройка». Если я заявляю себя первым номером – я лидер, у меня власть, – мой партнёр меня поддерживает «пристройкой снизу»: что называется, «свита, играющая короля».

А если я второй номер, если я маленький, слабый, – обратный случай: партнёр делает «пристройку сверху», как бы раздувается, чтобы зрителю сразу было понятно, кто из нас кто, в каких мы с ним отношениях. Тогда возникает динамика. Ведь чтобы музыка появилась, ноты не могут звучать на одной высоте? Одна нота выше, другая ниже.

И здесь то же самое, в дикой природе, – только один из исполнителей платит за эту музыку жизнью.

...О господи, ещё хуже: теперь он не только клюёт, он кусает этого маленького своим крючком, тормошит, тащит, дёргает, рвёт... Кошмар!

– Наконец-то! В норе появляются взрослые пчелоеды... Сейчас они положат конец этой войне... Нет?! Как же так? Поразительно, но в их присутствии избиение продолжается. Они теряют своего...

Сына? Дочь?

– ...своего малыша. Но, кажется, это их ни в малейшей степени не тревожит... Маленький пчелоед беззащитен, вот-вот погибнет в неравной борьбе, а родители кажутся полностью безучастными к...

– Достаточно, – раздалось вдруг в наушнике, и картинка на мониторе застыла. Я как будто с разбегу втемяшился в стену.

– ...твою мать, Вадик! Я сказал не останавливать! Русским же языком! Какого...

– Алексей Юрьевич.

Нет: это не Вадик в наушнике, голос совсем другой. Я же актёр в третьем поколении. И дедушка был прекрасный чтец и актёр, и папа актёр и чтец, и меня самого, видите, застали на озвучании: уж что-что, а человеческий голос я сразу слышу во всех деталях, каждый мельчайший звук.

Бывают голоса плотные – бывают рыхлые; бывают тёмные – светлые; бывают юркие, вёрткие – и ленивые, мешковатые; бывают извилистые – а бывают прямые как палка; гладкие –

и шершавые; маленькие – и боль-шие...

У звукооператора Вадика голос был вялый, волглый. А этот новый – наоборот, специально засушенный, сморщенный. Вкрадчивый, осторожный, как будто чуть-чуть показался кончик – вынюхивает с опаской, готовый в любую секунду юркнуть обратно.

Наверное, у меня африканские ночные съёмки ещё стояли перед глазами: я сразу представил ту землеройку, которая выцарапалась коготками из-под земли – подвижный серенький хоботок и мелкие острые зубки, которыми этот грызун выкусывает каждый звук, каждое окончание...

Можете мне не верить, но впечатление сложилось сразу: достаточно было услышать, как он произнёс моё имя и отчество.

Я решил, что раньше времени пришли новости, вскочил, крикнул в стекло аппаратной:

– Слушайте, мы же работаем, какого чёрта! Пять минут потерпите, сейчас, мы заканчиваем уже!..

– Алексей Юрьевич, сядьте.

А я вижу, что за стеклом никого. И Вадика одутловатого тоже нет. Как это? Кто тогда со мной разговаривает?

Я в обалдении начал было послушно садиться, и вдруг до меня дошло: «сядьте»? Если в аппаратной пусто, как же он видит, что я стою?

– Какой «сядьте», откуда... Вы что, следите за мной? У вас камера, что ли?

– Мы с вами общаемся дистан-ци-онно, – процвиркал грызун. – Вы прошли тестовое задание, продемонстрировали способности к импровизации, это именно то, что нам требова...

– Что?! Демонстри... – Я треснул ладонью по столу. – Я ничего не демонстрировал вам! Я вам мальчик тут, что ли?

Уж на что был замученный... А может, поэтому так и взъярился: выкладывался, из кожи лез заработать копейки – чтобы меня какая-то мелкая шваль потрепала по плечу, мол, «способности продемонстрировал»?! Это что, издевательство? Я с утра на ногах, не емши, не спамши, у меня ребёнок больной, а мне розыгрыши устраивают? Да как ты смеешь?!

– Нет, наушники не снимать. Я говорю с вами по поручению Константина Захаровича Тодуа.

3

Вы же знаете, кто такой Тодуа? Ну, фамилию слышали наверняка. Главный медиаменеджер всея Руси, тиран, интриган, самодур; внешне – очень смешной, как мультяшка: низенький, толстенький, с непропорционально огромными пышными сталинскими усами; все его называют «Котэ», но исключительно за глаза: миллиарды, огромные связи, слухи про мрачную уголовщину, заказные убийства – и общее недоумение: почему уже столько десятков лет его терпят, не

трогают? Все собратья из девяностых годов – кто давно за границей, кто погиб при невыясненных обстоятельствах, а этот всех пережил, пересидел и как ни в чём не бывало рулит Первой кнопкой, снимает блокбастеры и на собственном самолёте летает с блондинками в Канны... Как он вообще мог узнать о моём существовании?.. Нет, брехня. На Первом канале постоянно ссылались на Тодуа: «Котэ то», «Котэ сё», а Котэ ни сном ни духом... И этот грызун тоже врёт, подумал я.

...Или не врёт?

– Мы хотим сделать вам предложение, – посыпалась вкрадчивая крупа, – но сначала должны проговорить условия конфиденциальности...

– Какие ещё условия? Ночь на дворе. Слушайте, я устал, у меня голова не варит. Поручения, предложения – я очень рад, спасибо, но мне надо домой и... завтра поговорим.

– Такой возможности, к сожалению, нет, – откусил зубками. – Я считаю, что предложение для вас чрезвычайно заманчивое, на вашем месте я бы заинтересовался, но... – я услышал в его голосе непонятное удовольствие, – заставить вас, разумеется, не могу.

Конечно, мне стало до смерти любопытно. Что за предложение? Неужели кино?

Я буркнул:

– Вы же мне выбора не даёте.

– Напротив, даём, но... окей. Прежде всего, мы должны

вас предупредить: эта беседа на сто процентов конфиденциальна. Никаких упоминаний: ни устных, в личных беседах с родственниками и знакомыми, ни тем более письменных, никогда и нигде. Вы согласны?

– Допустим.

– Нет, «допустим» нас не устраивает.

Почему всё время «мы», «мы», «нас»? Он там не один, что ли? И звук, как по громкой связи...

– Ну хорошо. Никому и нигде.

– Зафиксировали. Алексей Юрьевич, мы хотели бы пригласить вас на центральную роль...

У меня в голове словно ударил колокол: «Рол-ль!»

* * *

А чтобы вам дальше было понятнее, как я скатывался по ступенькам, – у нас в профессии есть как бы негласная иерархия жанров. Наверху – *полный метр*, то есть кино, которое показывают в кинотеатрах. Например, Первый канал снимает блокбастеры, дорогое кино. Дорогое не обязательно значит хорошее. Но – заметное. Роль в блокбастере – значит, я на всех постерах, на обложках, в рекламе на Первой кнопке, у меня берут интервью, вся страна меня знает в лицо – и продюсеры знают, и режиссёры, я попадаю в обойму, я востребованный актёр, деньги – и наконец жизнь меняется!..

Следующая ступенька – очень-очень большая, очень вы-

сокая – сериал. Сейчас многие говорят: сериал – то же самое, что кино, только длинное. Категорически не согласен.

В *полном метре* минутную сцену могут снимать целый день. Свет привозят грузовиками. На каждый малюсенький планчик будут переставляться. Что это для меня значит как для актёра? Значит, где надо, у меня будет мудрость светиться в глазах. А на другом плане – будут чёртики прыгать. Вы не представляете, как мы, актёры, зависим от света, от построения кадра, от монтажа...

А сериал что? Выставились и погнали: двадцать пять минут в смену выработка, тридцать пять минут в смену... Кажется, материал на выходе тот же самый. А поближе посмотришь – пластмасса... Есть даже понятие «сериальный актёр». Второй сорт. Знаю на своём опыте.

И дальше – чем сериал длиннее, тем хуже. Предел падения – «мыло»: сто серий снимают в трёх интерьерах, текст жуткий и для карьеры труба – если ты снялся в *мыле*, то в *полный метр* никто больше не позовёт...

А, нет, погодите, ещё не самый предел: сейчас появились какие-то веб-сериалы. Это уже ниже дна: значит, качество даже на *мыло* не тянет...

– ...Мы хотели бы вас пригласить на центральную роль в многосерийном фильме...

И я сразу: кр-рах вниз по лестнице! Только земля посыпалась, как из-под землеройки. «Многосерийный фильм» – это красивое слово для сериала. Нет в жизни счастья, нече-

го было губы раскатывать... Не сдержался, вздохнул, переспросил:

– Теле-?

– Да, планируется телепоказ и трансляция в интернете...

– О-о-о, всё понятно... Стоило огород городить...

Залезать мне в наушник, устраивать весь этот цирк, пляски с бубнами – ради жалкого веб-сериала...

– Вы разочарованы, – это был не вопрос, а подсказка, и опять с непонятной мне радостью, как будто он именно этого и хотел: – ...разочарованы. Вы ждали чего-то другого?

– Неважно.

– Наоборот, очень важно. Меньше всего мы хотели бы вас принуждать. Поэтому прежде всего нужно выяснить, в чём заключается ваш интерес. Алексей Юрьевич? Чего вы вообще хотите от жизни?

– Хочу есть и спать! Я не ел целый день.

– Имеются в виду ваши рабочие...

– И пива!

– ...ваши рабочие интересы. Занимаясь профессиональной деятельностью – вот, например, озвучанием, – чего вы в конце концов хотите добиться? Я понимаю, этот вопрос может показаться сложным...

– Почему сложным? «Чего добиться»?.. Чего все добиваются, денег и славы. Тут, я понял уже, ни того, ни...

– Прекрасно. Первый определённый ответ. А чего больше хочется – денег или славы?

– Денег.

– В таком случае логично будет в первую очередь обсудить финансовые условия. Мы хотим предложить вам три тысячи долларов в день.

Бабам-м-м! Снова колокол в голове. Это у них за веб-сериал столько платят?! – изумился я. Круто. Но виду не подал. Pokerное лицо.

– И сколько дней?

– Неограниченное количество.

– В каком смысле?

– Видите, а говорите, вам всё понятно. Мы запускаем один из самых амбициозных проектов в истории телевидения. Приглашены звёзды первой величины, в том числе международные...

Мне послышался какой-то фоновый голос, потом сразу полная тишина, как будто мой собеседник выключил микрофон – и снова вернулся после небольшой паузы:

– Алексей Юрьевич, прежде чем двигаться дальше, мы с вами должны ещё раз проговорить, что весь этот разговор абсолютно конфиденциален и независимо от результата вы не сможете раскрывать содержание ни в каких частях – ни родным, ни коллегам, ни одному человеку, без исключений. Вы это понимаете и подтверждаете?

– Да, подтверждаю, да. И понимаю.

Точно, там кто-то с ним рядом, какой-то его начальник, подумал я. А вдруг правда Тодуа?

– Вашего персонажа зовут так же, как вас... почти так же: граф Алексей Орлов. Но не исторический, а другой, вымышленный персонаж. Герой войны 1812 года. Действие происходит в графском особняке. Очень красивая декорация: интерьеры, костюмы... Ежедневно планируется часовое включение – в большой эфир. Главный канал страны. Каждый день, и в будни, и в выходные, и в праздники. Без перерывов. И каждый день вы получаете сумму, эквивалентную трём тысячам долларов США.

4

Я как бы немного оглох, и горло перехватило – есть у меня такая неприятная реакция на сильные переживания. Если честно, я всегда втайне ждал, что однажды что-то сказочное со мной случится... может быть, все этого ждут? Но мне всё-таки не пять лет и не пятнадцать, а тридцать восемь... Я откашлялся и спросил эдак небрежно:

– Сколько серий в сезоне?

– Триста шестьдесят пять. Как у вас с устным счётом, Алексей Юрьевич? Можете три тысячи умножить на триста шестьдесят пять? Ну, приблизительно?

Триста... на три тысячи... это что, девятьсот.... Чего?! Тысяч долларов?! А триста шестьдесят... это что.... миллион? МИЛЛИОН долларов?! В год?

– Так... а сколько сезонов?

– Чем больше, тем лучше. Неограниченное количество. Был, например, сериал *Guiding Light*, «Путеводный свет». Он шёл в эфире семьдесят сезонов. Есть английский сериал *Coronation Street* – в эфире с 1960 года и до сих пор.

Опять что-то пробурчало на фоне.

– Но мы всё-таки вряд ли замахиваемся сразу на семьдесят лет... Год, два, пять – более реалистично. Пока зрители смотрят...

Два, пять – получается, и миллионов тоже?!

– Хм... И когда же... хм, гм... планируется начать?

– Выход в эфир ориентировочно в феврале – в начале марта двадцать второго года. Но ваш контракт вступает в действие сразу. Мы платим полную сумму не только за каждый день съёмок, но и за каждый день подготовки. Обратите внимание: не десять процентов, не двадцать, не пятьдесят, а все три тысячи долларов за каждый день репетиций... Сколько сейчас на ваших часах?

– Двадцать минут одиннадцатого.

– Переведите на две минуты вперёд. Точное время двадцать два... пятнадцать секунд... девятнадцать... вот! Двадцать два двадцать два двадцать два. Если вы подпишете контракт в течение часа тридцати... семи минут, то уже за сегодняшний день вам будет выплачено три тысячи долларов. В рублёвом эквиваленте. Ну, как вам условия?

– Хм... гм...

– Видите, а говорите, понятно... Но это не всё. В чём но-

ваторство и уникальность проекта. В большом эфире на Первом канале даются включения – один час ежедневно. А в интернете идёт круглосуточная трансляция. То есть ваша работа не прерывается. Вы постоянно находитесь в павильоне. И днём, и ночью.

– Зачем?

– Принципиально иной градус доверия. Зритель в любой момент может включить онлайн-камеру и увидеть, что всё это не фейк, не игра: вы едите, вы спите, вы моетесь в ванной...

– Как «моетесь»?! Меня будут снимать, как я моюсь?!

– Нет, нет, нет. Камера перед входом в ванную комнату. Когда вы идёте в уборную – естественно, закрываете дверь. Главное, зритель видит, что вы настоящий живой человек. Что это значит для зрителя? Это значит, что жизнь на экране – реальна.

– И что, вы хотите сказать, все эти звёзды первой величины будут у вас круглосуточно, без перерыва...

– Нет, круглосуточно – только вы. Вы как бы якорь. Или, точнее, ось. Пи-Оу-Ви³. Поэтому вы постоянно в периметре...

– Я что-то не... Круглосуточно – сколько суток?

– Семь суток в неделю, тридцать в месяц, триста шестьдесят пять – или триста шестьдесят шесть – суток в году. В сут-

³ *POV, Point of view* – здесь: персонаж, глазами которого зритель смотрит на происходящее. Дословно: точка зрения (англ.).

ках двадцать четыре часа, в часе шестьдесят минут, в минуте шестьдесят секунд. Всё это время вас снимают камеры. У вас в комнате, если не ошибаюсь, сорок шесть камер. И за каждый день, напоминаю, вы получаете три тысячи долларов.

– И... Погодите, то есть что, я вообще оттуда не выхожу?

– Не выходите.

– Никогда?

– Пока проект в эфире.

– Я чего-то не соображу... А звонить я могу? Пользоваться интернетом?

– Вы в девятнадцатом веке. Какой интернет?

– Погодите, но ведь должны быть какие-то перерывы...

– Нет, никаких перерывов.

– Я не понимаю... Это что такое вообще? «Дом-два»?

– Ни в коем случае. «Дом-два» – реалити-шоу, а у нас художественный проект. Вы – персонаж. Граф Орлов.

– У меня есть сценарий?

– Конечно. Вся ваша жизнь полностью подчинена сценарию. У вас в наушнике персональный суфлёр, мы его называем «кондуктор». Каждый день вы получаете текст... незаметно для зрителя – например, вы читаете книгу, туда вклеиваются страницы. Ключевые реплики вы заучиваете, но таких реплик немного. Как правило, у вас прописаны основные линии поведения, и вы действуете в логике персонажа.

– То есть вы хотите, чтобы я год не выходил из этой...

– Чтобы вы находились в периметре декорации, да. Год,

два, три – сколько проект будет идти в эфире.

– Так... Дело серьёзное. Дайте мне несколько дней...

– Зачем?

– Что «зачем»? Посоветоваться с семьёй...

– Вы не можете посоветоваться с семьёй.

– Почему?!

– Вы только что подтвердили условие стопроцентной конфиденциальности. Дважды.

– Нет, погодите, вы что, предлагаете мне просто сию минуту всё бросить и...

– Да, именно это мы вам предлагаем.

– Как вы это себе представляете? Нет, вы что... Я не могу!

– Жаль. Ну, как говорится, на нет и суда нет, – с лёгкостью согласился грызун. – В таком случае мы рассмотрим другие кандидатуры.

Я вдруг понял, что меня всю дорогу так раздражало, сбивало: противоречие между словами, которые он проговаривал – и тем, что у нас, у актёров, называется «задача» или «посыл». Словами он убеждал согласиться (может быть, по обязанности, отработывая программу) – а интонацией внушал: «откажись, откажись...» Дёргал меня одновременно в противоположные стороны, как Тянитолкай...

– Нет, подождите! – я как бы схватил его за рукав. – Но хоть предупредить семью я могу?

– Мы поставим, – он явно был разочарован, – вашу семью в известность...

– А театр?! У меня послезавтра спектакль!..

– Вас заменят. Знаете, Алексей Юрьевич, не ищите сейчас аргументы. Это вопрос исключительно вашего внутреннего решения. Если такое решение есть – обстоятельства не помеха. Если решения нет – найдётся масса причин...

– Вы даже успели в театре поговорить?

– Вы заняты по большей части в дублирующем составе. Если честно, касса от вас практически не зависит. А вернётесь – мегазвездой. Так что театр только за.

– Но звонить домой я смогу?

– Вы сможете писать письма. И получать ответы. А вот звонить... Понимаете, вы ведь не в состоянии двадцать четыре часа в сутки играть. Никто не может. Значит, необходима полная перестройка сознания. Вы должны вырваться из две тысячи двадцатых годов и полностью погрузиться в тысяча восемьсот тридцатые. Тогда, увы, не было телефонов... – Я чувствовал всё яснее, что он разговаривает не со мной, а через мою голову с кем-то другим, с кем-то для него важным. – Кроме того, живой разговор тяжело контролировать. Мы делаем большие ставки на этот проект и не хотим допустить, чтобы какая-то информация преждевременно просочилась... Письмо-то мы читаем...

– То есть?

– Ваше письмо. Конечно. И все письма к вам. Обязательно. Вы всё время под камерами, миллионы зрителей на вас смотрят. Каждое слово, которое вы произнесли, написали...

– Вы что, с ума сошли?! Это гестапо, что ли? Концлагерь?!

– Вы отказываетесь?

– Я... чтобы вы читали мои письма к жене? Да, отказываюсь!

– От нашего – предложения – вы – отказываетесь, – промурлыкал мой собеседник уже с нескрываемым облегчением. Он меня провоцировал, провоцировал – и добился! Я заорал:

– Да! Да! Нет! Это что вообще всё такое? Что это за фашизм? Я живой человек! У меня был адский день, у меня лопается голова, у меня болен ребёнок! Я есть хочу! Идите на хер с вашими миллионами! Завтра – если хотите меня, поговорим завтра нормально на свежую голову, а сейчас – нет! Завтра – да, сейчас – нет!..

– Повисите минуту, – совершенно спокойно и деловито ответил голос в наушнике и пропал.

5

Во время нашего разговора на мониторе стояла, иногда чуть подрагивая, картинка – туннель в темноту, на фоне туннеля два белёсых пятна: один птенец долбит клювом другого, как этот голос долбил меня – и додолбил. По нижней границе экрана тянулась дрожащая ярко-зелёная пиксельная полоса, что-то напоминала из прошлой жизни, я никак не мог сообразить, чтоб...

Хорошо помню свои тогдашние ощущения. В студии полумрак. Пахнет дешёвым чистящим средством и пылью. Стол под локтями, со сколами и царапинами – такой же тоскливый, как эта отдушка. На стенах звукоизоляционные панели в дырочку. Как будто каждая дырочка – это окно, из каждой дырочки на меня смотрят те самые миллионы несостоявшихся зрителей...

Сейчас он вернётся и скажет: спасибо, Алексей Юрьевич, вы свободны. И всё. Главной роли на Первом канале нет. Сказочных миллионов – нет. Есть только счёт из больницы – и ни малейших шансов этот счёт оплатить. Только что этот шанс на меня упал с неба, невероятным, волшебным образом, – и я сам, своими руками, поганым своим языком...

Не знаю, сколько прошло минут, три или десять, – в общем, когда он вернулся, я был готов абсолютно на всё.

Но грызун-то в наушнике этого знать не мог. Когда он снова заговорил, меня удивило, насколько иначе звучит голос – без всяких прежних цоканий и пританцовываний, а совершенно прямо и сухо:

– Алексей Юрьевич, мы в курсе вашей ситуации. Несколько месяцев тому назад вы сказали в частной беседе, что если бы могли отдать жизнь за... – слышался бумажный шелест. – Цитирую: «не задумался бы ни на секунду. Только бы он был здоров». И сегодня вы повторили, что... – Звук перелистываемой страницы. – «Нет сил жить». И в шутку просил себя «заказать». Говорил: «закажи меня».

– Погодите, откуда... вы прослушивали меня? Слежка?

– Ну что вы, Алексей Юрьевич, не фантазируйте. У нас и возможностей таких нет. Хорошо отработал кастинг-директор, навёл справки. Коллеги за вас искренне переживают, хотят помочь вам... Сейчас важно другое. Мы вам даём ту возможность, которую вы себе воображали. Вы же артист, фантазия у вас хорошая. Представьте: вы вышли из студии, вы спустились на лифте, прошли через проходную, вышли на улицу Королёва – и вас сбила машина. Насмерть. Прямо перед Телецентром. И всё, вы не можете посоветоваться с женой.

Я подумал: а было бы хорошо. Если сразу.

– Ваша прежняя жизнь завершилась. Точнее сказать: прервалась на неопределённое время. Зато во время этого перерыва ваша семья получает три тысячи долларов в день. На эти средства оплачивается лечение. Плюс остаётся вполне достаточно для безбедного существования. Больше того: если растёт стоимость медикаментов – пропорционально растёт оплата. Если нужен аванс на лечение – мы авансируем. Это прописано в договоре. На этих условиях – вы отдали бы свою жизнь? ...Повторяю вопрос: вы отдали бы свою жизнь?

– Да.

– Подписывайте.

Больше не было в голосе никакого Тянитолкая, он давил напролом. Даже что-то буквально лязгнуло металлическое.

– Выдвиньте средний ящик. Видите папку?.. Откройте.

Толстая пачка страниц.

– Ручка должна быть внутри.

– Но... я хотя бы могу прочитать?

– Читайте. На самом деле, контракт очень простой. У вас – никаких прав. Кроме одного: права получать в день три тысячи долларов. Все остальные права вы отдаёте Телекомпании «Первый канал». Права на ваше изображение во всех видах, на всё, что вы скажете или напишете, пока действует договор, Телекомпания получает бессрочно. Конфиденциальность – бессрочно. Вот, в общем, и всё. Обманывать вас не в моих интересах. Наоборот, всё важное я с вами сейчас проговариваю максимально отчётливо. Здесь со мной присутствуют два свидетеля и нотариус. Кроме того, ведётся аудио- и видеозапись нашей беседы.

– Вы говорите «пока действует договор»?..

– Да, пока вы заняты на проекте. Односторонне расторгнуть контракт вы не можете. Сиречь, не можете соскочить. А вот Телекомпания имеет право расторгнуть в любой момент. Например, если вы плохо играете. Но в этом случае всё заработанное остаётся при вас. Кроме пункта... обратите внимание, глава пять, пункт двадцать два... на четырнадцатой странице: «при неоднократном грубом и намеренном нарушении сценария... также при нарушении действующего законодательства, включая, но не ограничиваясь... насильственные, хулиганские действия на площадке...» Видите? Телекомпания имеет право взыскать все уплаченные вам

суммы. Плюс штрафы, проценты, фактические рас-ходы...

– Зверство какое.

– У вас есть желание «неоднократно, грубо, намеренно» нарушать? Совершать «насильственные, хулиганские действия»?

– Нет, конечно...

– Тогда в чём проблема? Ничего сверхъестественного от вас не требуется. Придерживайтесь сценария. Глава восьмая, пункт тридцать седьмой: «Телекомпания вправе использовать технические средства, включая, но не ограничиваясь: камеры слежения, открытые и скрытые микрофоны, суфлёр, датчики, передатчики и др., как бесконтактные, так и физически контактирующие с Актёром...» Да! Вот ещё пункт, – в его голосе как будто снова проснулась надежда: надежда, что я откажусь? – может для вас оказаться существенным. Сухой закон.

– На площадке?

– Вы всегда на площадке. Год, два, пять лет... Ни капли спиртного.

– Зверство, – тупо повторил я.

– Да? А по-моему, фантастические условия. Заниматься любимым делом за миллион долларов в год.

– И не жить.

– А зачем? – Он зевнул. – Извините.

– Не видеть родных...

– Зато они смогут вас видеть ежесекундно.

Я ещё полистал договор туда-сюда, попытался вчитаться. Перед глазами как будто стоял туман. Я скользил взглядом по строчкам, не понимая ни слова. Сдался. Сказал:

– Хорошо. Где подписывать, тут?

– Алексей Юрьевич, уточните, пожалуйста: вы приняли это решение под давлением?

– Да... То есть нет, нет!

– Вы можете принять как положительное решение, так и отрицательное. Вы вменяемы. Вы трезвы. Вы в нормальном физическом состоянии. Всё верно?

– Ну... Верно.

– Нотариус попросит вас ответить на пару стандартных вопросов.

– Представьтесь, пожалуйста, – другой голос.

– Орлов Алексей Юрьевич.

– Где и когда вы родились, дата?

– Москва, тринадцатое ноября тысяча девятьсот восемьдесят третьего года.

– Как вы себя чувствуете?

– Нормально.

– Какое сегодня число?

– Тридцатое ноября две тысячи двадцать первого года.

– Где вы находитесь?

– В озвучке... то есть в аппаратной, в Останкинском Телецентре. Третий этаж...

– Знаете точный адрес?

– Москва, улица Академика Королёва, двенадцать.

После паузы снова земляной голос:

– Можете подписать. Да... И на каждой странице. В любом месте: сбоку, внизу... Лучше внизу, да. Смелее.

Сейчас вспомнил, и стало стыдно – подписывая, я спросил:

– Но я ведь главный герой?

Жалко, беспомощно... Тьфу...

– Алексей, вы – якорный персонаж.

– Вы сказали, главная роль.

– «Главным» я называл только Первый канал. В отношении вашего персонажа я этот термин ни разу не употребил. «Центральный» – да. Пи-Оу-Ви.

– Это одно и то же.

– Нет, не всегда... И второй экземпляр, пожалуйста, тоже на всех страницах... Представьте себе, например, колесо. Колёсная ось – элемент не самый подвижный, но, безусловно, центральный. Так же и ваш персонаж. Он не обязательно главный участник событий, но он в центре. Зритель слышит его ушами, смотрит его глазами двадцать четыре часа...

– А если я вдруг чихну? Закашляюсь? Забудусь, в носу поковыряю?

– Чихать чихайте сколько угодно...

– У меня часто в горле першит, знаете, как...

– Не проблема. А в носу ковырять... Постарайтесь следить за собой. Чтобы не разрушать романтический образ.

– А если пукну? Случайно?

– У вас проблемы с желудком?

– Да вроде нет, не особо.

– Мы будем следить за вашей диетой... Помните: полная конфиденциальность. Про ваши финансовые условия – ни партнёрам, никому – ни слова.

– А что, для партнёров тоже секрет?..

– В первую очередь для партнёров, вы что! С вами будут сниматься селебрити, а получают они меньше вас. Ни в каком случае никаких цифр. Я вас предупредил про ответственность.

– Вы ещё говорили про иностранных актёров...

В наушнике стихло, как будто он выключил микрофон. Я продолжал расписываться на страницах.

– Да, – подтвердил он, вернувшись. – У нас будет сниматься один каннский лауреат.

– Кто, секрет?

– Теперь для вас не секрет. Матия Йович.

Снова стукнуло в голове – может, не так оглушительно, как про миллион долларов, может, не колокол, а какой-нибудь гонг – но тоже довольно громко. Дело в том, что мы с Йовичем – близнецы. Ну, почти. Я спьяну шутил, что, когда меня выгонят отовсюду, пойду в шоу двойников. Он-то, конечно, не подозревает о моём существовании, а я за его карьерой слежу. Фильмы стараюсь не пропускать, интервью читаю...

– Так что у вас будет шанс встретиться на площадке...
Заканчивайте, Алексей.

«Алексей» прозвучало небрежно – так разговаривают с водителем, с официантом. Раньше он называл меня «Алексей Юрьевич».

– Только что, – огрызнулся я, – у меня было отчество.

– Зато не было титула. Кстати, отчество у вас теперь другое – Кириллович.

– А называется-то как?

– Фильм?

– Сериал.

– «Дом Орловых». Да-да. Приятное совпадение. Здесь фамилию-имя-отчество полностью, подпись... Ага. Видите, граф, и до полуночи уложились. Значит, вам причитается за сегодняшний день. Ещё один бонус.

– До полуночи... Прямо как нечистая сила...

– Завтра с утра начинается испытательный срок.

– Погодите, про испытательный срок речи не было!

– Для вас – абсолютно никакой разницы. На оплату это никак не влияет.

– И сколько же он продлится, этот ваш испытательный...

– Пока не выйдем в эфир. Два с половиной – три месяца.

Я подсчитал в уме. Хотя бы два месяца протянуть – уже будет неплохо.

– Кольцо снимите, пожалуйста.

Я часто снимал обручальное кольцо – перед спектаклями,

перед съёмками. Это привычное действие. Но в этот раз, когда свинчивал, потянуло тоской.

– Можете положить в кошелёк. Телефон, сумку, одежду верхнюю – всё просто оставьте здесь. Ничего не пропадёт. Всё получите по окончании проекта. На выходе.

– Как из тюрьмы.

– Лучше представьте себе не тюрьму, а орбиту. Вы космонавт. Так позитивнее, согласитесь. Копию договора возьмите себе. Сейчас вас проводят...

В этот самый момент мой живот громко, протяжно, с раскатами и руладами, забурчал.

– Мне поесть там дадут? – спросил я.

– Поесть... – Он запнулся и, видимо, растерялся: не предусмотрел, не учёл... Я сразу как бы пролез в эту щёлку:

– И пива!

– Нет, – цыкнул он, но как-то не слишком решительно. – Я же сказал, сухой закон...

– Но это же там, на площадке, а мы ещё тут. По-человечески вас прошу. Одну бутылочку! Две!

(Снова голос на фоне, глухой, неразборчивый.)

– Хорошо. Сейчас вам принесут поесть и бутылку пива.

– Бельгийского, если есть. Какое будет. Нефильтрованное. Любое! Холодное!..

– Хорошо, хорошо... С зубами у вас всё нормально? В девятнадцатом веке со стоматологами проблема. Так что лучше заранее...

– А одежда? – вдруг сообразил я. – У меня же нет сменной...

– Одежда есть. Мы взяли мерки в театре.

– Подождите... – У меня в голове стала складываться удивительная картина. – Сериал называется «Дом Орловых». Меня и моего персонажа зовут одинаково. Вы договаривались с моим театром. Вы взяли мерки. И с Мэтью Йовичем – вы не вчера ведь начали переговоры... А если бы я отказался?

– Но вы же не отказались.

– Но я же мог?

Опять что-то лязгнуло металлическое... Кандалы?

– Знаете ли... – проскрипело в наушнике, и я прямо увидел, почувствовал, как землеройка ткнула меня своим рыльцем. – Знаете, Алексей, в чём разница между предопределением и предвидением? Вы совершаете некий выбор, и думаете, что этот выбор свободен. Из этого вроде бы следует, что предопределения нет. Но тем не менее ваш выбор можно предвидеть.

– Не понимаю.

– Я вас успокою. Никто не понимает.

И отключился.

6

Я помню: в наушниках тишина. На столе под лампой ку-

сок ковровина, на ковровине две пачки подписанных мной страниц. Похоже, что разговор действительно был.

«...Вас сбила машина... Вы отдали бы свою жизнь?..»

Что важное я не сказал? Что могло бы пойти по-другому?.. Мне сделали предложение – я согласился. У меня не было выбора.

На душе почему-то мутно и тяжело. Может быть, просто от голода?

Край столешницы упирается мне в колени. Ну и долго мне ещё так сидеть?

Тут я слышу, как поворачивается рычаг. В тёмном предбаннике короткая возня, что-то звякает. Открывается дверь, и на пороге фигура: белая грудь, в белых перчатках поднос, на подносе что-то под белой салфеткой... Блеснула бутылка! Шаг, другой, в свете лампы я вижу белое кружевное жабо, ливрею, расшитую золотыми узорами, короткие, по колено, штанишки, ноги в белых чулках, башмаки с пряжками, – лакей водружает поднос на стол, кланяется и произносит торжественно и немного ворчливо:

– Ужин, ваше сиятельство.

Ух ты, думаю. Ну и физиономия!

Надо лбом – совершенно прямая линия чёрных волос, как будто парик, прилепленный или приклеенный. Лошадиные зубы. И, как бывает с клоунами и с большими актёрами, сразу, мгновенно – цельное впечатление: юг Италии, Сицилия или что там, Неаполь, третьеразрядный мафиози на под-

хвате, вчерашний крестьянин, ширококостный, смешной... Идеальная физиономия эпизодического актёра!

Не лицо. И не рожа, не харя, а именно физиономия. Даже – физиогномия.

Взмахнул, хлопнул тяжёлой салфеткой и со словами:

– Позвольте, ваше сиятельство... – как бы приобнял и с отеческой грубоватой заботой подоткнул салфетку за воротник. Круговым жестом, как фокусник, снял с подноса бутылку – и одним движением скovyрнул пробку о край стола. Вручил мне эту бутылку с тяжёлым вздохом:

– Напиток богов...

Горлышко ещё дымилось. Я припал губами к холодному выпуклому колечку и – первый глоток...

Острые маленькие пузырьки... Волшебная горечь, сперва совсем лёгкая, легче воды из-за пены и пузырьков, а потом расцветает, вступает в действие алкоголь, голова проясняется... Не бельгийское, ну да неважно... Глоток за глотком... Наслаждение! Счастье!..

Мафиози вытянулся в струну, отвёл глаза, как бы не в силах смотреть, как я пью, сглотнул всем кадыком. Я видел только шею и ухо, но насколько же красноречиво эти шея, ухо, кадык взывали ко мне, проклинали сухой закон на площадке!..

Я вытер салфеткой горлышко, по-братски ему протянул:

– Хотите глоточек?

– Премного благодарим. Не положено, – скорбно сказал

мафиози.

Ничего себе, снова подумал я. Актёр, актёрище!

Всё, что он ни делал, было смешно и точно. И абсолютно естественно. У дядьки был настоящий клоунский дар. Жуя бутерброды, я рассмотрел его одеяние: золотое шитьё, кружева... Выглядело солидно. Я всегда обращаю внимание на сценические костюмы: если ткань не дешёвая, если подогнано по размеру... Думаете, это мелочи? – нет. Это значит, продюсерам не всё равно. Бог даст, и сценарий будет приличный, и режиссёр...

На подносе рядом с тарелкой лежала маленькая коробочка, я поначалу её не заметил. Подождав, пока я доем, мафиози эту коробочку открыл (получилось не сразу: ему пришлось стащить перчатку и твёрдым ногтем поддеть). Внутри была тускло-розовая пластмассовая таблетка, шайбочка – она мне напомнила батарейку для часов: знаете такие? диаметр несколько миллиметров, напряжение, кажется, полтора вольта.

– Пожалуйста, ваше сиятельство, – проворчал мафиози. – Это суфлёр. Вставьте в правое ушко. Поглыбже, ещё поглыбже, ваше сиятельство, чтобы не было видно... Чудесно. Теперь, ежели вы изволили трапезу завершить...

Он вытащил и отбросил салфетку, пустой поднос взял подмышку и попятился к двери. Я бросил прощальный взгляд на мою куртку, на сумку, там всё: телефон, паспорт, кошелёк; в кошельке, в отделении для мелочи, кольцо...

– Папочку с договорчиком не забудьте, ваше сиятельство.

* * *

В коридоре я по привычке тронулся к лифтам, но мафиози вдруг жёстко, не по-лакейски, сцапал меня под локоть и со словами:

– По лесенке, ваше сиятельство, нам по лесенке... – потащил в противоположную сторону. Одной рукой он крепко меня держал, в другой руке у него был поднос. Не понимаю как – но при этом он ухитрился страстно, опять же по-итальянски жестикулировать: делал рукой утиный клювик и быстро его раскрывал («га-га-га», «бла-бла-бла»), приставлял широченную ладонь к уху, показывая, будто кто-то кого-то слушает, тыкал себе в ухо пальцем. Я сообразил: нас подслушивают через эти пластмассовые таблетки. Он прижал к губам палец: молчим, молчи!

В полпервого ночи останкинский коридор был пуст – только двое рабочих впереди что-то делали с полом, один спустился по пояс и то нырял куда-то вниз, то выныривал, как землекоп из могилы. Когда мы приблизились (шли мы быстро), я увидел: в полу зияет люк, квадратная крышка люка стоит у стены, а впереди и внизу, у нас на пути, почти всю ширину коридора – сплошное переплетение кабелей и проводов, толстых и тонких, проложенных по отдельности и пучками, и тот рабочий или электрик, который внизу, пере-

кусив один провод кусачками, наклоняется и длинными движениями вытаскивает его изнутри, выбрасывает на поверхность – а тот рабочий, что наверху, кольцами сматывает этот кабель в бухту.

Наверно, я был слегка не в себе (в общем, немудрено, если вспомнить всё предыдущее) – но так ярко, так сильно впечаталась эта картинка, что я вижу её до сих пор. Как будто раньше я жил обычной жизнью, ходил, не задумываясь, по этому коридору, по этим люкам, а там внутри, оказывается, сплошные кишки – и вот будто бы вскрыли и роются...

Кое-как по стенке мы протиснулись мимо – могильщики посторонились – и мы оказались на лестнице.

Вдруг мой провожатый остановил меня (за рукав, молча). Присел на корточки. Обнял кадку (на всех этажах стояли большие кадки с растениями – и здесь, на площадке третьего этажа, тоже торчала какая-то пальма). Вытащил из-за дырявой пальмы бутылку. Таковую же, какую только что выпил я... И внезапно с размаху швырнул поднос на плиточный пол! Металлический грохот пошёл волнами по этажам. А мафиози, нажав, сбил пробку краем пластмассовой кадки и успел сделать несколько жадных глотков, пока поднос не улёгся.

Я смотрел на всё это, разинув рот, пока не сообразил: он таким образом заглушил звуки. Чтоб не подслушали. У них же сухой закон. Пошёл покупать мне бутерброды и пиво, и заодно купил бутылку себе, а когда поднимался, припрятал. Ушлый, зараза...

– Извините, ваше сиятельство, мою неловкость... – жестами он меня приглашал спускаться по лестнице, но «медленно, ме-едленно... ещё ме-е-едленнее...» – Не желаете ли по дороге о чём-нибудь разузнать?

Ага, понял я: хочет, чтобы я говорил, а он в это время выхлебает запрещёнку.

– Как вас зовут?

Посмотрел с насмешливой укоризной: мол, ну ты чего?

– Тебя! – поправился я. Конечно, он крепостной, я хозяин. – Как звать тебя, братец?

Он оторвался от полупустой бутылки, почтительно произнёс:

– Симеон. Али просто Семён, как изволите. Камердинер ваш.

И повертел указательным пальцем: мол, не молчи, не молчи, давай, говори что-нибудь, заполняй тишину.

– А что, Семён, у вас... то есть у нас, у Орловых, всё время нужно так выражаться? Как в девятнадцатом веке? Без этих... – Как же они называются, слова из другой эпохи... – Анахронизмов?

Тем временем мы спустились на первый этаж. Допив бутылку, он выдохнул, но беззвучно – и на секунду даже блаженно закрыл глаза.

– Всё достоверно изволите понимать... – Оценив расстояние до полицейского, который дежурил на выходе из Телецентра, Семён загородил очередную кадку широкой спиной,

ловко воткнул бутылку горлышком в грунт – и подмигнул мне. Я был в полном восторге от этого прохиндея.

– Что за шум был? – спросил полицейский.

– Вот, подносик упал, товарищ старший лейтенант.

Смерив нас взглядом – один в джинсах, другой в ливрее, – лейтенант отвернулся: мол, навидался здесь и не такого.

«Живой, живой!» – думал я про своего камердинера. Азартное подростковое чувство, как когда мы с приятелем Ромкой, соседом по съёмной даче, исподтишка по очереди курили первые сигареты (а потом выяснилось, что моя же мама эту вечернюю сигаретку тайком ему и выдавала). Или в Брюсовом переулке – когда мне было восемнадцать лет и квартира в полном распоряжении... Свобода и братство.

Теперь неизвестность была не такой тревожной: у меня появился союзник. «И ведь отличный актёр! – думал я. – Упругий, хватистый... Есть на кого опереться...»

* * *

В холле первого этажа не было ни одного человека. Напротив так называемых «больших лифтов» на сиротливой подставке вроде мольбертика стояла траурная фотография – и перед ней пара жидких гвоздик. Сколько народу работает в Телецентре – тысяч двадцать, наверное, тридцать, – постоянно кто-нибудь умирает. Статистика... Издалека показалось, лицо молодое. А может, просто такой снимок вы-

брали. Интересно, подумал я, если бы умер я, кто-нибудь тут поставил бы фотографию? Вряд ли...

Я старался не отставать от Семёна, сохраняя при этом непринуждённый и независимый вид, как будто не я был при нём, а наоборот, он при мне. Трогал правое ухо, проверял, не вывалился ли наушник (кстати, минут через десять привык и совершенно забыл о нём). Было страшновато и любопытно: кто эти «селебрити первой величины»? Может, кто-нибудь из знакомых? А если меня не примут, если я не впишусь? Если выгонят?.. Три тысячи долларов в день, нереально... Хоть бы пару месяцев продержаться... Да хоть один месяц – уже шикарно...

Камердинер нырнул в незаметный проход, спрятанный за большими лифтами. Толкнул распашные двери: в лицо дохнуло затхлым горячим воздухом. Мы оказались в транспортном коридоре. Я был здесь только однажды, лет двадцать назад, и забыл начисто, что буквально в двух шагах от чистенького, обновлённого холла, увешанного экранами, – вход в этот подземный мир. Здесь всё было в точности как тогда – а может, и как полвека назад, когда Телецентр был построен: на полу не плитка, как в офисных коридорах, даже не асфальт, а какой-то грязный гудрон; в воздухе мельтешит и роится душное марево – шум принудительной вентиляции. Сюда ведут вентиляционные шахты со всего здания, нагнетается горячий воздух, поэтому духота и жара круглый год, запах натруженного металла и будто бы пота, как на старом

заводе, и на уши давит, как при погружении на глубину.

От транспортного коридора отходит несколько закоулков, в один мы свернули. Жестяные двери с жёлтыми молниями: «Электротехническое помещение», «Мусорокамера», «ОЭПП / ШТ 16-5Д», и в тупике – дверь без вывески, стол, за столом охранник.

Семён выудил из ливреи пропуск, сунул охраннику:
– Круглосуточный.

Не дожидаясь реакции, потянулся охраннику за плечо, нажал кнопку на переговорном устройстве и сделал шаг назад – позволил нас рассмотреть в камеру наблюдения. Дверь отщёлкнулась. Мы вошли в коридорчик, Семён захлопнул за собой первую дверь. Сразу же автоматически отворилась вторая дверь шлюза – и, снова в образе камердинера, Семён склонился почтительно, пропуская меня вперёд.

7

Лунный свет. Деревья. Фасад дома с лепниной, другие дома вдалеке...

На секунду мне показалось, что мы вышли на улицу, на ту сторону, где Останкинский пруд.

В следующее мгновение я, конечно, сообразил, что мы в студии – но гигантской. Я видел тысячеметровые павильоны, но этот был ещё больше. Я и не знал, что такая студия существует в Останкино.

Здесь было гораздо прохладней, чем в транспортном коридоре: высоко-высоко, над железными фермами, рядами вращались белые вентиляторы. Почему-то я помню, что под одним вентилятором покачивался, подрагивал и постукивал какой-то хвост, издавек похотий на гигантскую липкую ленту от мух: наверное, что-то оторвалось с потолка, может, кусок какой-то обшивки, поскрипывал и шуршал на ветру.

Меня всегда завораживала студийная изнанка – все эти рельсы, лебёдки, кабели, трубы, хоботы... Я с суеверной почитательностью относился к рабочим, которые так цинично-небрежно двигали декорации, прикручивали, подключали неведомые механизмы. В своём легендарном «Гамлете» Пауль Целмс взял на роли могильщиков не актёров, а настоящих рабочих сцены. Я всегда чувствовал, что это круто и точно, но не мог сформулировать, почему. Теперь понял: и те и другие видят изнанку вещей. У рабочих, как у могильщиков, нет иллюзий...

В студии пахло опилками. Декорация, очевидно, была не готова: торец строящегося дома был закрыт раздвижными платформами вроде железных лесов, в полумраке маячили горы щепок, опилок, ломаного пенопласта, тут и там пластиковые канистры, вёдра, мусорные мешки, верстаки...

Это меня успокоило: ну, здесь работы ещё надолго. Завтра в эфир не выйдем. Успею обжиться.

Мы спустились по пандусу – и, когда двинулись вдоль фасада, вглубь павильона, Семён впереди, я за ним, – у меня

появилось странное ощущение, словно мы движемся не по земле, а по какой-то невидимой эстакаде. Потом я сообразил, что виноваты деревья. Вблизи было видно, что деревья – из пластика, но сделаны очень подробно, со всеми складочками коры, с искусственным снегом... Они были как бы утоплены в землю, то есть сучья и ветки начинались не над головой, а прямо от пола. Из-за деревьев светили приборы. Выше всех, на суставчатой ноге, горел самый яркий прожектор с серебристо-зеленоватым фильтром. Этот фильтр и давал эффект лунного света. В театре он называется почему-то «чахотка».

За деревьями справа – дорожки сада, ограда, другие дома... Оказалось, что всё это – фотографическая панорама: в высоту метров семь, а в длину, наверное, и все тридцать. Панорама была напечатана то ли на ткани, то ли на какой-то полурезиновой плёнке и держалась на тонких тросах, растянутых под потолочными фермами.

Дом – длинный, огромный, тёмный – был похож на корабль, на ковчег. Тридцать метров в длину, тридцать пять?... Окон только с той стороны, где мы шли, было не меньше десятка.

Фасад, освещённый сверху приборами, казался каменным, лепнина была объёмной (скорее всего, из крашеного пенопласта). Первые три окна были крест-накрест заклеены, как в войну от бомбёжек, стёкла грязные, в брызгах: было ясно, что там внутри до сих пор штукатурят и красят. Даль-

ше – чистые тёмные стёкла, за стёклами шторы, как если бы в этих комнатах уже действительно жили люди: в одном из окон мелькнула не то горящая свечка, не то просто блик.

Дом подпирали грубые деревянные сваи. Фасад был покрашен примерно на метр выше и ниже оконных рам – ровно настолько, чтобы камера могла снаружи заглянуть в окна, и при этом в кадр не попало бы ничего лишнего.

Сколько раз я потом себя укорял, что внимательно не осмотрел дом снаружи. Я еле волочил ноги, единственное желание было – лечь... Думал, завтра освоюсь... Я помнил требование грызуна «не выходить за периметр», но был уверен, что речь шла про всю эту огромную студию. Нет: как выяснилось, мне нельзя было покидать декорацию как такую, выходить за ту стену с окнами, вдоль которой меня вёл Семён. Я должен был двадцать четыре часа находиться внутри. Получилось, что я видел дом только с одной стороны, где деревья... А что там сзади, не видел. Какая вроде бы разница, да? Но почему-то мне кажется, что если бы я тогда обошёл павильон, осмотрелся, потрогал стены руками, то все эти месяцы в заточении прошли бы чуть легче...

На дальнем торце дома уже не было никаких признаков стройки. Здесь всё выглядело как во время обычных студийных съёмок: длинная вешалка, на вешалке несколько курток, внизу разбросанные кроссовки, большие бутылки, кулер, столы, тележки с техническими мониторами... Вдруг я заметил, что передо мной – живой человек: на составленных рядом

четырёх стульях, вытянув длинные ноги, лежал на спине парень в худи с капюшоном. Он не повернул головы в нашу сторону, вообще не шевельнулся: то ли спал, то ли следил за экранами.

На большинстве мониторов было темно, бежали красные и зелёные цифры. Думаю, это была техническая картинка изнутри дома. На одном из экранов прошла, как мне показалось, девушка со свечой, в чём-то белом (может быть, в ночной рубашке), с высокой старинной причёской... Громко булькнул пузырь воздуха в кулере. Семён окликнул меня:

– Пожалуйста в дом.

Мы поднялись по грубо сколоченным доскам, вошли в пустой проём без двери. В полутьме на комод (и правда, вполне антикварного вида) горела свеча. Пахло не жилым домом, а чем-то сырым, вроде мокрой извёстки. Семён здесь прекрасно ориентировался: он куда-то пропал на секунду и вынырнул с бронзовым (или медным?) двурогим подсвечником.

– Электричество в доме есть? – спросил я без особой надежды.

– Даже слова такого не знаем.

Сквозь тесное тёмное помещение (я ничего не успел рассмотреть: много мебели, под ногами ковёр, и пахло уже не извёсткой, а душноватым жильём) – мы вышли в длинную комнату. Справа, в дальнем углу, мерцали лампадки: иконы, иконы, целый домашний иконостас. Письменный стол, освещённый свечой, стоял в центре комнаты. Семён стоял у двери, держа в руках свечу. Он смотрел на нас, но не говорил.

щённый луной (то есть фильтром «чахотка»), – показался мне необычно высоким. Шкафы с книгами. Гравюры в рамках. Напольные часы башенкой. Камердинер поставил подсвечник на тумбу с мраморной крышкой и сложил (точнее, полусложил-полусдвинул) длинную ширму, за которой обнаружилась вожденная кровать – тоже по виду старинная, низкая, зато с целым штабелем пухлых перин, со стёганым одеялом в горох, с грудой пышных подушек перед резным внушительным изголовьем.

– Располагайтесь, ваше сиятельство, – Семёну явно уже не терпелось избавиться от меня. – Ежели я понадобится, позвоните... – Он вытащил одну свечку и, поклонившись, исчез.

Как это «позвоните»? – подумал я запоздало, потом сообразил, что имелся в виду колокольчик, стоявший на тумбе.

Я сел на кровать и провалился в перины. Пахло душистым бельём. Меня придавили усталость и тишина. Я до сих пор держал в руках папку – мой договор. Внутри в кожаной петельке была вставлена ручка. Я пошарил в поисках выключателя, вспомнил, что электричества нет, чертыхнулся.

Правда, свечка, которую мне оставил Семён, горела достаточно ярко. Было странно, что язычок огня прыгал – а свет оставался ровным. Я обошёл комнату в поисках стула – ни одного. Ни кресла, ни табуретки. И чистых страниц в папке не было, ни одной. Но после подписей был заголовок «Технические условия» – и мелкий шрифт. Я кое-как

боком пристроился к тумбочке, перевернул «Технические условия» и написал на обороте: «Мариша!» Писать, сидя в мягких перинах, было неловко.

Напольные часы блямкнули один раз. В глубине дома отозвались другие, третьи. «Уже час ночи? – подумал я. – Половина? Без четверти?»

Мраморная столешница была холодная, маленькая, неудобная. Чтобы подумать, что написать дальше, с чего начать, я откинулся на подушки – и сразу же провалился в сон.

ЧЕГО ХОТЯТ ГЕРОИ, ИЛИ ЛЯЗГ

А. Ю. Орлов дважды упомянул некий лязг, якобы раздававшийся во время нашего с ним разговора. По первом прочтении я решил, что это авторская фантазия – либо технические помехи.

Потом меня осенило: часы! Я ношу часы на металлическом браслете и, когда разговариваю, иногда машинально снимаю их и перебираю звенья.

Когда я это понял, то испытал тревожное и неприятное ощущение, словно бы оказался в чужой стихии, попал во враждебную мне физическую среду. Как говорится, «рыба, которую вытащили из воды», – или наоборот, человек, которого неожиданно бросили в воду. Про меня сообщили нечто, чего я сам не заметил. Меня увидели (точнее, услышали) со стороны. Я превратился из шоураннера – в персонажа.

Это чувство опасности я бы хотел вам привить. Важно, чтобы с первых шагов вы осознали иноприродность ваших героев. Отсутствие твёрдой позиции в этом принципиальном вопросе заводит шоураннера в непролазные творческие и «моральные» дебри, сбивает настройки, провоцирует внутренние конфликты, приводит к профессиональному выгоранию.

Чтобы научиться правильно обращаться с героями, мы с вами должны понять: кто они? Из чего они сделаны? И главное, пожалуй: чего хотят?

Они сами ответят на этот вопрос. Наша с вами задача – услышать их.

Обратите внимание, как цепко и тщательно А. фиксирует, кто на него смотрит, а кто не смотрит, и на кого смотрит или не смотрит он сам. В одном эпизоде партнёр отворачивается от него, и это приводит А. в ярость. В другом случае происходит обратное: А. поворачивается к партнёру спиной – и преподносит это как долгожданный триумф.

Почему взаимное расположение на площадке вызывает настолько острые переживания? В чём здесь драма?

Я знаю, что у театральных актёров есть выражение «перекрыть». Это значит: физически заслонить партнёра от зрителей. Обычно все мизансцены разводятся так, чтобы этого не случилось. Но бывает, актёр в нарушение режиссёрских рекомендаций выходит к рампе.

Стоя на краю сцены, он как бы говорит зрителям: «Я звез-

да. Смотрите, смотрите на меня все!» Он греется в свете софитов – и в лучах зрительских взглядов. А реплики посылает в пространство, поверх голов.

Теперь представьте: что в это время делают остальные актёры? Если у них тоже есть реплики – куда они должны эти реплики направлять? Выбора нет: им приходится адресоваться к затылку коллеги, к его, выражаясь прилично, спине.

Получается, вышедший на авансцену не просто *перекрывает* партнёров. Он их унижает, ставит их в подчинённое положение.

Понаблюдайте за высокопоставленными политиками (за президентами, например), когда они не за столом переговоров лицом к лицу, а бок о бок – допустим, у них совместная пресс-конференция. Вы заметите, что и тот и другой упорно старается не смотреть на коллегу. Иногда это выглядит очень комично. Например, один политик хочет что-то другому сказать. Говорит, но при этом смотрит перед собой или в противоположную от собеседника сторону. А второй – тот, кто слушает, – как бы невзначай слегка наклонился вперёд, да ещё чуть-чуть отвернулся. Потому что оба знают простое правило: на кого смотрят – тот главный. Если один ест второго глазами, а этот второй отвернулся, значит, первому что-то нужно, он слабый, зависимый, а второй – старший, сильный.

Политики, как и актёры, – по природе скорее растения, чем животные. Они питаются взглядами. Они так вырабатывают хлорофилл.

В одном из писем, на основе которых составлен этот учебник, А. изображает встречу с более знаменитым коллегой и саркастически замечает, что тот его «озарил». Это не просто красивая фраза – это достаточно точное наблюдение. Я повидал немало известных актёров и говорю совершенно серьёзно: после того как человек проведёт годы под прожекторами, под объективами камер, а главное, под влюблёнными взглядами тысяч людей, – он начинает светиться обратным светом. Как море, за день нагретое солнцем, остаётся тёплым всю ночь.

Или полночи.

Или пару часов. А потом остывает. Как тело.

Самое страшное для актёра, физическое мучение – оказаться в тени. Это не вопрос славы и даже не вопрос власти, а вопрос жизни и смерти. Поэтому надо любыми способами выбиться на авансцену. Все остальные пусть остаются сзади, в моей тени. Их проблемы.

Я слышал истории о великих актёрах – А. И. Райкине, Аль Пачино, – которые вели себя исключительно скромно и незаметно, так что случайные зрители, оказавшиеся с ними, допустим, в гостях за столом, были даже немного разочарованы.

Объясню. Они были настолько известны, что все взгляды и так постоянно были прикованы к ним. Вот если бы рядом в этот момент оказался другой великий актёр, даю руку на отсечение: и Аль Пачино, и Райкин стали бы действовать точ-

но так же, как их менее уверенные в себе коллеги.

Задача актёра – всегда, в любой точке пространства и времени, – чтобы внимание концентрировалось на нём. Он будет умным и тонким, произнесёт возвышенные слова (цитаты из прошлых ролей), если будет располагать обстановка. Если нет – он будет готов снять штаны, если иначе никак, отрезать себе, не знаю, палец. Выругаться. Подлизаться. Быть смешным, страшным, снова смешным, любимым. Но только чтобы смотрели, чтобы хотели ещё.

Актёру неважно, кто рядом. Он больше ни разу в жизни не встретит этих людей. И тем не менее – вернее, как раз поэтому он готов для них абсолютно на всё – не для близких, а именно для далёких. Для новых. Близких-то он давным-давно съел и переварил, вытянул из них все лучи обожания, он должен двигаться дальше. Не обижайтесь, не возмущайтесь и не обвиняйте его. Он так устроен. Это его природа. Иначе он – не актёр.

Так дайте же им то единственное, что им нужно!

Не задавайте лишних вопросов: «Чего вы хотите?»

Они, скорее всего, ответят: «Любви! Только любви!» Не верьте. Это слова из роли.

Чуть-чуть копнув, вы увидите, что для ваших героев «любовь» – чисто количественное понятие. У слова «любить» на их языке есть корректный синоним – «смотреть». Чем лучше смотрят, тем больше любят.

Соответственно, и у «любви» есть исчерпывающий сино-

ним (или даже омоним). Рейтинг. Дайте им рейтинг – они будут есть с руки.

Вы помните первое правило шоу? No choice.

Второе, не менее важное –

ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ ПРАВИЛА ШОУ

No Love. Никакой любви даже близко. На пушечный выстрел.

Писатель, сказавший «героев надо любить», был садист, – а скорее, просто лукавил и направлял доверчивых эпигонов по ложному следу. Выбор прост: героев любите либо вы, либо зрители.

Если вы любите и жалеете ваших героев, желаете им добра и счастья – закройте этот учебник, займитесь полезным трудом: плавьте сталь, разводите вуалехвостов – только держитесь подальше от шоу-бизнеса, потому что всё, что вы делаете, будет невыносимо скучно.

И в качестве бонуса – ваши же персонажи первыми потеряют к вам интерес, предадут и сожрут вас за то, что вы не дали им то единственное, чего они жаждут на самом деле, – рейтингов.

Так что – забудьте.

Скажите – я запретил.

Вы должны не любить, а мучить ваших героев. Придумывая Ахиллеса, начните с пятки, чтобы потом воткнуть в

эту пядку самую острую, самым опасным непобедимым ядом отравленную стрелу. Чем интенсивнее будет страдать ваш герой, тем стабильнее будет зрительское внимание, и тем выше – рейтинг вашего шоу.

* * *

Однако учтите: качество и характер страданий должны соответствовать выбранной вами *шкале*. Масштаб *шкалы* связан с жанром. Допустим, ваш жанр – салонная мелодрама аля «Дом Орловых», где максимальная ставка – замужество героини. В масштабе этой шкалы пятно на платье или, допустим, оплошность в беседе может вызвать у героини сильнейшие переживания: они потянут на восемь баллов из десяти.

Если же вы снимаете боевик, в героя стреляют и попадают ему в плечо (разумеется, всегда в плечо) разрывной пулей, он сплошь в кровище, но продолжает уверенно спасать мир – это та же восьмёрка. Просто другая шкала.

Не пытайтесь совмещать шкалы. Это уместно в комедии с абсурдистскими элементами: сложный жанр, вкусовой, не советую начинающим шоураннерам за него браться. Любая шероховатость, неточность чревата потерей контакта с аудиторией.

Здесь я обычно слышу контраргумент: «в жизни так и бывает».

Согласен. В т. наз. реальности человек озабочен судьбами мира, что не мешает ему свирепеть из-за пятнышка на штанах.

Так же и человеческий глаз одновременно видит во всех деталях белую скатерть на ярком солнце – и чёрную кошку в тени. Но камера, даже последнего поколения, либо возьмёт все кошачьи шерстинки, усы и вибриссы, отправив при этом скатерть в засветку, – либо покажет вышивку, ниточки и за-сечки на скатерти, оставив от кошки один силуэт. «В жизни так и бывает» или «так было на самом деле» – не аргумент.

Да-да, в жизни драма, трагедия и абсурд прекрасно сосуществуют. В шоу – как правило, нет.

Чтобы далеко не ходить – возьмём нас с А. Орловым.

* * *

Я никогда не считал Орлова хорошим актёром. Не соби-рался кастинговать его на центральную роль.

Инициатором была продюсер Алла Касаткина, а К. З. То-дуа – неожиданно для меня – принял её предложение с эн-тузиазмом. По правде сказать, у Котэ случались катастро-фические вкусовые провалы. При всех своих миллионах – а может, и миллиардах – он оставался мальчиком из Зугди-ди, падким на пряничную славянскость и внешний дешёвый «аристократизм».

Как я ни подгадывал день и время, чтобы Орлов был ва-

рёным, – импровизация оказалась довольно-таки убедительной. Я пытался его спровоцировать на отказ (осторожно, с оглядкой на гендиректора, который время от времени подключался к нашему разговору из своего кабинета) – и даже добился успеха. Но Тодуа раздражённо сказал: «Решай сам», – и я понял, что нет, увы, надо взять это папье-маше, этот рулон розовой сахарной ваты.

Ничего, думал я. Два-три месяца – испытательный срок. Котэ остынет, забудет, что-то новенькое его отвлечёт. А муфлон даст мне достаточно поводов для увольнения. С первого дня было видно, что не потянет.

И, кроме его актёрской невнятности, меня, конечно, корбила эта история с больным ребёнком.

Смотрите: вот я пишу учебник для будущих шоураннеров. Я рассказываю вам про то, как обращаться с героями. Я шучу.

В качестве сырой основы использую письма А.

Т. обр., А. превращается в моего персонажа – и сам попадает в рамки некоторой *шкалы*.

Он мучается, он страдает? Естественно. Но отчего?

Оттого, что его тщеславие ущемлено; оттого, что другие актёры играют лучше; оттого, что сюжет развивается не так, как он себе воображал; от соперничества, от ревности; наконец, от любви. Пускай вы не тётки со сковородками, но и вам интересно, влюбится ли он в партнёршу, – и если да, то как будет выкручиваться, если за ним круглосуточно следят ка-

меры, а в числе зрителей (зрительниц) – его собственная жена. Всё это поможет мне удержать ваше внимание – и по ходу, так сказать, пьесы скормить вам ещё несколько шоураннерских правил.

Теперь ответьте: нужно ли мне, чтобы в этой забавной конфигурации присутствовал сын главного персонажа – больной онкологическим (потенциально смертельным) заболеванием?

Категорически нет. Мне сейчас даже писать это неприятно – а вам неприятно читать. Болезнь ребёнка – это нечто огромное. Она взламывает любую шкалу, торчит из неё, как гигантская чёрная башня. А., который способен в тени этой башни тщеславиться или влюбляться, выглядит как моральный урод. И бесполезно бежать за читателем, дёргать его за штаны (или читательницу за юбку), уговаривать, что в жизни так и бывает: масштабы соседствуют, сосуществуют, и человек, над которым нависли огромные чёрные беды, может быть занят ничтожными мелочами – и даже большую часть времени и душевных сил тратить именно на эти мелочи, а на страшную башню тщательно не смотреть, и действительно забывать про неё?..

В жизни – да. В шоу – нет.

Отсюда правило третье: никакой правды.

No choice.

No love.

No truth.

Если три этих базовых правила вами усвоены – в принципе, можете начинать.

Вторая часть

1

– ...Ну просыпа-айтесь же!..

И первая моя мысль, ещё глаза не открыл, – не мысль, а ужас: мой собственный мозг разговаривает со мной женским голосом. Мне вскрыли мозг?!

– Уже десятый час... Ну ва-аше сиятельство!.. – жалобно повторяет плюшевый голос в моей голове.

Я разлепляю глаза – и зажмуриваюсь: сиятельство потолка, сиятельство солнца на мраморной тумбе у изголовья, сиятельство золотых дверных ручек... *какое «сиятельство»?!*

Где я?

– Ой, ваше сиятельство...

Голос изнутри справа, из правого полушария. Правое полушарие тяжелее, чем левое.

– ...Пожалуйста, не вскакивайте! вам нельзя...

Что-то твёрдое в ухе. Одеяло в крупный горох – как стены в дырочку, аппаратная звукозаписи... Всё вчерашнее на меня рушится сплошной стеной, как обвал: я наконец понимаю, что разговаривает шайбочка у меня в ухе, но не могу постичь, почему я под одеялом раздетый, если заснул поверх одеяла в футболке и в джинсах. И если я в Останкино, в па-

வில்IONE, откуда яркое солнце на потолке?

– Привыкайте, пожалуйста: как только проснулись, смотрите на иконы и креститесь...

– Стоп, стоп, стоп! Какие иконы? Это кто вообще?!

– Саша, – стесняется шайбочка в моём мозгу. – Я ваш кондуктор...

– Кто?!

– Ой, Алексей Юрьч... то есть ваше сиятельство, вам нельзя со мной разговаривать, вы в кадре...

– Уборная где здесь?

– О господи... Семён, где вы?

Над ширмой – хитрая мафиозная физиономия:

– Ваше сиятельство, как почивали? Сию минуточку вас отвезу...

Я чувствую, что на мне скользкая ткань – простыня не простыня... Сдёргиваю одеяло. Оно льнёт ко мне, не хочет выпускать из жарких объятий, – оказывается, я в ночной рубахе выше колен (на самом деле, до пят, во сне задралась), рубаха тонкая, кружевная, в оборках.

– Я сам дойду.

– К прискорбию, ваше сиятельство, будучи инвалидом Отечественной войны, у вас ножки отнялись...

Семён сдвигает ширму, и я вижу кожаном-металлическое рычажно-колёсное чудище, доисторический мотороллер. Или доисторический тренажёр. Нет: орудие инквизиции, мы с Маринкой видели очень похожее на Арбате, на-

против Дома актёра, в музее пыток.

Кресло – высокое, намного выше кровати; спинка крест-накрест простёгана и утыкана кнопками или клёпками, как входная дверь в мою квартиру – с той разницей, что у меня на двери дерматин, а тут, судя по запаху и по блеску, породистая дорогая кожа. Массивные подлокотники. Сзади – бронзовые, или, может, латунные гнутые набалдашники (как потом оказалось, ручки: слуга берётся за эти ручки, толкает кресло). Колёса большие, как у современных инвалидных колясок, – но современные-то колёса узкие, лёгенькие, на тонких шинах и с кучей спиц, а эти громоздкие, как у телеги. Перед сиденьем, на длину ног, – нечто вроде корыта, полукруглая вогнутая лохань. Ещё дальше перед лоханью – третья, ведущее колесо, втрое меньше, чем здоровенные боковые. Над этим передним колёсиком – как выяснилось потом, рулевая конструкция: втулка, вилка и вертикальная трубка, как скипетр или канделябр – и от этого канделябра назад, к сиденью, выгнутый тонкий рычаг.

– Это что за... мутьда?

Семён отвечает бойко и громко, но я не верю ушам, переспрашиваю:

– Какое-какое?!

– Бацкое, Бат-ское кресло. С английского, стало быть, городу Бату. Позвольте, ваше сиятельство...

Не успеваю опомниться, как Семён обнимает меня за плечи, другую руку подсовывает под колени, легко поднимает

все мои восемьдесят, не соврать, семь или восемь кг, переносит по плавной дуге – и втискивает в сиденье. Ничего себе силища, думаю я.

– Нет-нет, ножками не шерудите, оне у вас не шевелятся. Камердинер берётся за набалдашники, налегает...

* * *

Мою кровать отделяют от двери в ванную метра четыре. Коляска тяжёлая, сдвинуть её всегда сложно, потом катится легче. Но всё равно: пересечь мою комнату – это секундное дело. А я сейчас вспоминаю этот первый проезд на коляске как целое путешествие: трогаясь с места, чудовище застучало колёсами, как когтями, закрипело драконьей чешуёй...

До меня наконец дошло: инвалид. Мне вчера говорили про 1812 год. Но не сказали, что я буду ездить в кресле-качалке. Вот оно как. Я герой. Я мученик! Всем жертвую ради семьи. Какие ещё пытки приготовили для меня фашисты?

И в то же время мне было жутко азартно и любопытно.

Доехали до двери. Семён оставил свою толкательную позицию, открыл дверь, вернулся за спинку кресла, двинул вперёд: переднее колесо, передняя часть лохани и в ней мои голые ступни вкатились в соседнюю комнатку, там всё было в красном бархате и коврах... и коляска застряла. Задняя ось оказалась слишком широкой, не пролезала в проём. Семён тужился, пытался меня протиснуть и прямо, и наискосок, но

только царапал косяк двери и коляску.

Мне стало невтерпёж, я поднялся, встал босыми ногами в корыто, полез из коляски...

– Нет, нельзя! – вскрикнула девочка в ухе, залепетала: – Ваше сиятельство, сядьте! Семён!..

* * *

Мне до сих пор стыдно вато, что я на неё наорал. Но представьте, в каком я был положении: кругом всё новое, полная неизвестность. И, главное, поймите, как мы, актёры, устроены.

Хотя и дедушка, и отец были актёрами, мой главный авторитет в профессии – Пауль Максович Целмс. Он говорил: выпустите на сцену собаку – все будут смотреть на неё, она всех вас переиграет. Почему? Она полностью органична. Это у вас голова отдельно, руки-ноги отдельно. Не думайте головой! – внушал Целмс. На сцене некогда думать. Реагируйте молниеносно, интуитивно, всем телом!

Дальше такое правило: на сцене – и в кадре тоже – нет и не может быть равенства. Только динамика, только конфликт. Батарейка: плюс – минус. Тогда есть напряжение, есть энергия.

Зритель должен с первой секунды видеть, кто плюс, а кто минус. Вы помните, я рассказывал про «пристройки»? Выходит на сцену царь, не знаю, крёстный отец. На нём не обя-

зательно кобура или мантия, но зритель считает: вошёл главный. Во-первых, он сам себя вносит: пристройка сверху. Во-вторых, все остальные делают «ку»: пристройка снизу. Зрителю сразу комфортно: он видит соотношение сил. Понятно, что те, кто снизу, скрипят зубами и выжидают момент, чтобы перевернуть ситуацию, и зритель ждёт вместе с ними: сразу же есть энергия, есть конфликт, зрителю интересно.

А если входит лакей, то не только он сам играет своё лакейство («пристройка снизу»), но и хозяин должен ему подыграть, приспособиться сверху. Это понятно? Если они оба прижмут уши и втянут шею, зритель запутается, не поймёт, что происходит на сцене. У нас это всё отработано как рефлекс.

Теперь возвращаюсь на две минуты назад.

Меня разбудил женский голос, точнее, девичий: «Проснитесь, ваше сиятельство...» (Сзади, кстати, висел невнятный бубнёж других голосов: такой фон бывает, когда звонят из колл-центра.) Не успел я проснуться, я уже очень много понял про эту девочку: я вам говорил, голоса я схватываю мгновенно, это не только профессиональное, это семейное.

Девочка лет восемнадцати-двадцати. Очень робкая. Значит, скорее всего, некрасивая. Себя не ценит – не любит. Почти наверняка лишний вес (всё это я не вычисляю каким-нибудь дедуктивным методом, нет: я сразу же чувствую по дыханию). Московская, из хорошей семьи – это слышно по бук-

вам «ш», «ж»: «ваш-ше», «Саш-ша», «пож-жалуйста». Когда она произносит «ш», она заворачивает язык назад к нёбу, звучание мягкое, плюшевое. Вообще, чем язык ближе к зубам, тем человек прагматичнее и холоднее – чтоб далеко не ходить, вчерашний грызун: у него все звуки шли от зубов, как будто он от меня отгрызал по кусочку. А эта наоборот, боится, как бы нечаянно не задеть, отводит язык назад как можно дальше: не Саша она, и тем более не Александра, а домашняя Сашенька, Саш-шенька.

Это только звучание голоса.

А ещё интонация снизу вверх: придыхание, восхищение, – пристройка не просто снизу, а снизу-снизу-снизу, ниже плинтуса.

Я сейчас не оправдываюсь перед вами, я объясняю, как всё это работает. Причём объясняю я десять минут, а срабатывает по щелчку. Она пристроилась снизу, я отреагировал...

– Лёшик, ты охренел? – другой голос, никаких московских «ш», с зубастостью всё в порядке. – Ты что бычишь на девочку? Ты в уме? Это Алла. Привет.

– Какая Алла?

– Ты знаешь какая. Ты на моём проекте так себя вести не будешь, понял? Я в курсе твоей ситуации, Лёшик. Будешь бычить – вылетишь сию минуту. Семён! Переносишь через порог, ставишь ширму. За ширмой внутри он может самостоятельно передвигаться. Кивни, что понял. Так. Лёшик, ты

мне Сашеньку не обижай. Я тебе дала лучшую. Всё, сейчас ни секунды буквально. Вернусь к тебе позже. Работай.

Не с первой секунды, но я сообразил, что за Алла. И главное, на словах «мой проект» и «знаю твою ситуацию» наконец стало ясно, как я сюда попал.

2

Совсем-совсем коротко, в двух словах, чтобы не уходить сейчас далеко: Алка Касаткина училась в Школе-студии на одном курсе со мной и с Камилем. Актрисы из неё не вышло, но она быстро перековалась в помрежа, в кастинг-директора, а потом и в продюсера. Я слышал, что у неё дела с Первым каналом. Старые связи она сохранила – всегда умела поддерживать отношения. «В курсе твоей ситуации». Я рассказал Камилю, Камиль Алке, Алка своим боссам на Первом канале, боссы проверили меня на птичках – и вот я здесь...

Тем временем камердинер опять меня сгрёб в охапку, легко перенёс через порог (здоров! – снова подумал я) – и зашлонил дверь высокой ширмой с райскими птицами.

Судя по запаху и по ковру под ногами, это была та комната, сквозь которую мы вчера пробирались на ощупь. Похожа на будуар: умывальник, выпуклые шкафы и шкафчики, кресла, одно – как обитый красным бархатом трон. Семён поднял сиденье трона... под сиденьем – простое ведро.

Может, таких подробностей вам и не надо, но уж на-

чал рассказывать, так доскажу, чтобы вы представляли наши условия. Я его сразу про себя назвал «трон-толчок». Впоследствии оказалось, что называется «ретирадное кресло». Канализации не было – кто станет тянуть трубы внутри павильона? Всё как в девятнадцатом веке, аутентично.

Семён удалился за ширму... потом вернулся, полил мне на руки из кувшина над умывальником. Тоже: под умывальником никаких труб, просто отдельно стоящий столик с плочкой вместо раковины. Под раковиной – большое фарфоровое полуведро-полуваза.

Подал мне полотенце и сообщил, что ванну наполнит позже, а сейчас мы опаздываем на завтрак. Усадил меня в кресло (уже, конечно, не «ретирадное», а в моё кресло-каталку) и стал одевать.

Первым делом нацепил мне на шею довольно массивный крест, застегнул сзади – как в кино дарят невесте кольцо. Я удивился: зачем? всё равно под рубашкой не видно. Потом вспомнил: они же меня и ночью будут показывать, и с утра...

Узкие мягкие обтягивающие штаны. Лёгкая, на ощупь очень приятная – шёлковая или с примесью шёлка – рубашка...

Ощущение было забавное: ну да, случилось, что костюмерша помогала мне застегнуть крючки на каком-нибудь сложном камзоле, – но чтобы меня одевали вот так, начиная с белья, это в последний раз со мной было, наверно, в младшей группе детского сада.

Туфли из мягкой перчаточной кожи – мне показалось, великоватые, – но, раз меня везде возят, какая разница.

– Пожалте ножку, ваше сиятельство, – буркнул Семён: ворчливо и в то же время заботливо, почти нежно, словно и вправду привык ухаживать за мной с детства.

Штрипки (лямки под панталонами) пропустил поверх туфель – под каблуками. Это меня рассмешило: ощущение было, как если бы я натянул поверх ботинок носки.

Жилет твёрдый, как рыцарский панцирь.

Сверху – в три слоя – толстый довольно жаркий платок (оказалось, что в девятнадцатом веке так выглядел галстук, «галстух»). Камердинер подсунул пальцы под галстук и заколол булавкой с зелёной стекляшкой, которая изображала, наверное, изумруд или, не знаю, какой-нибудь хризопраз.

Сюртук странного желтовато-зелёного цвета. В обычной жизни я такой цвет не ношу. Но всё-таки сцена и жизнь – вещи разные. По крайней мере, так было раньше...

Мне стало жарко, неловко, плотный галстук заставлял высоко держать голову, под коленками натирала какие-то бессмысленные тесёмки – зато появилось чувство, что облечён, как рыцарь в доспехи, к бою готов. Лёгкий мандраж, как в гримёрке перед спектаклем.

Я одёрнул из-под рукавов сюртука кружевные рукава рубашки и снова подумал: что меня ждёт? И главное, *кто* меня ждёт? С кем я проведу будущие недели, а может, и месяцы? У меня есть камердинер, дядька-оруженосец. Опора.

Уже хорошо. Теперь вопрос, кто остальные. Такие же классные, как Семён? Обещали «селебрити»...

– Ну что, едем?

Повёз меня через другую дверь, мимо письменного стола, мимо иконостаса с лампадками. Камердинер толкал, я рулил с помощью длинного рычага: рычаг скрипел, поворачивался с неохотой, мне приходилось приноравливаться.

– Перекреститесь, пожалуйста, на иконы. – В плюшевом голосе прорывалась обида.

Я кое-как отмахнулся: всегда забывал, куда тыкать сначала...

– Нет-нет: лоб – живот – правое плечо – левое.

Слава богу, в дальнюю дверь коляска пролезла с запасом – ну да, правильно, она же как-то попала в комнату. Дверей только две: в той она застрекает, значит, вкатили сюда через эту...

Тем временем мы проехали коридор. Кланяясь, расступились лакеи в ливреях. Открылись высокие створки – и я внутренне ахнул.

Версаль, Зимний дворец: громадная высоченная зала, колонны, лепнина на потолке, всё в золотых кружевах, в зеркалах, в солнечных пятнах. Мне показалось, что эта дворцовая зала во много раз длиннее фасада, мимо которого мы вчера проходили; намного больше, чем вся вчерашняя тёмная студия. Пятое измерение?

Потом я увидел, что издалека нам навстречу едет крес-

ло-каталка: светло-зелёный сюртук, сзади широкоплечий слуга. Сообразил, что на дальней стене – зеркала. Увеличивают пространство. Но как же они собираются тут снимать? В зеркалах отразятся все камеры, все осветительные приборы...

Даже теперь – за столько месяцев можно было привыкнуть, но каждый раз, когда я здесь оказываюсь, меня впечатляет размах. Бальная зала по площади занимает, наверно, две трети всей декорации: уж точно больше, чем все остальные комнаты, вместе взятые. Теперь-то я вижу: лепнина на потолке – гипс; резьба в простенках – пластмасса, крашенная золотой краской; канделябры и люстры – тоже штампованная пластмасса, стекло, фольга... А вот паркет – натуральный дубовый, наборный. То есть деньжищ всё равно вбухано ого-го... Но это я рассуждаю сейчас, обжившись и приглядевшись.

А в первое утро, когда во всех окнах софитами сияло солнце сквозь снежные ветки, отбрасывало голубые тени, отражалось во всех зеркалах... Настроение подскочило. Мы сами, актёры, люди не очень серьёзные – но тем более ценим серьёзное отношение. Когда видно, что деньги потрачены – на декорации, на костюмы опять же...

Простенки напротив окон тоже были зеркальные, мы отражались в них, проезжая. Впереди справа темнели открытые двери, и уже было видно: комната в синих обоях, вдоль стены вытянулись лакеи, а за столом – две фигуры в ста-

ринных платьях, с высокими взбитыми локонами, как куклы в игрушечном домике, друг против друга. Одна спиной ко мне, в руках у неё странички... письмо? – она вслух читает; другая, старая, ко мне лицом.

Позже мою бандуру как-то подмазали, подкрутили, она стала ездить потише – а в то первое утро вовсю скрипела, стучала, но дамы делали вид, что заняты разговором... Так, наверное, себя чувствовал мореплаватель, возвращаясь из кругосветного путешествия и пытаясь с палубы разглядеть, кто встречает на пристани...

Саша как будто ответила на мои мысли:

– Напротив – маменька, спиной к вам – сестра Ольга. При встрече целуете маменьке руку. С сестрой целуетесь рука в руку.

Что такое это «рука в руку», я понятия не имел, но переспрашивать было нельзя, да и времени не было: переднее колесо, рокоча по паркету, вкатилось в гостиную.

Престарелая дама – вырез платья открывал неровно-пятнистую коричневатую грудь – подняла перст, как Вий, и прогремела трагическим басом:

– Кто – это – такой?!

Мы с Семёном застыли.

Первая мысль, мелькнувшая у меня в голове: ей, как и мне, обещали «звёзд первой величины», а подсунули неизвестно кого. В первый раз меня видит... И я тоже понятия не имею, кто она... Хотя нет, вроде что-то знакомое...

Дама грозно, медленно поднялась, шурша юбками, двинулась на меня и тем же голосом древнегреческой героини, какой-нибудь Клитемнестры или Кассандры, провозгласила:

– Я – не знаю – этого – человека!

Я подумал: вот сейчас подойдёт и заколет меня кинжалом или зарубит коротким спартанским мечом.

Но успел мимолётно отметить, что вторая женщина, молодая, не повернулась, только спокойно положила письмо перед собой.

– Вы хотите сказать, – крикнула Клитемнестра вверх, олимпийским богам, – что сей златокудрый красавец – мой сын? Я – не – верю! Не верю!

А в следующую секунду вдруг расплылась в широчайшей, сладчайшей улыбке, зажмурилась, прижалась ухом к плечу, вытютила губки уточкой, сморщила гузкой (Марина говорит – жопкой) с таким умилением, как будто я был годовалый младенец, бутуз-карапуз, и вместо баса – тоненьким голоском продребезжала:

– Мальчик мой, Алексис!

(«Мальтик мой, Алексись».)

У меня в голове что-то тренькнуло, совместились картинки, и, как накануне я рухнул сразу на пять ступенек, с *полного метра* к веб-сериалу – так и тут меня постигло горькое разочарование. Точней, горько-кислое: ну-у, какая же это «звезда», кисло подумал я. Это Люська.

Ещё одно маленькое отступление. Я читал, что Джек Николсон отказывался от ролей в потенциальных блокбастерах. Боялся слишком большой популярности. На первый взгляд, звучит глупо. Но смысл в этом есть (конечно, если ты Николсон). Роль может к тебе так прилипнуть, что не отковыряешь потом до конца своих дней.

Люська – яркий пример. Хотя лично мы с ней знакомы никогда не были, я не подумал «Людмила Ивановна», и фамилия «Ледовских» всплыла позже. Но я немедленно вспомнил – и вы бы вспомнили – крошечный эпизод, который был снят года за три до моего рождения и оставил неизгладимую эротическую зарубку в душе советского зрителя. Проститутка Люська Леденец.

И что от этой красоты Люськи осталось? Сморщилась, глазки выцвели... Улыбаясь искусственными коронками, протянула мне руку.

– Целуйте, – скомандовал голос в наушнике.

Я взял скользковатую руку, прижался к выпуклым венам – и почувствовал на губах жирный крем.

– Алекси-ис! – Люська-«маменька» продолжала сюсюкать и умиляться. Переднее колесо не давало ей подойти ко мне с фронта, но она как-то пристроилась сбоку, схватила меня цепкими коготками и жамкала, приговаривая «Алексись,

Алексись»». – Дождались тебя... Заждались... Наш герой...

Вдруг замерла. Выпрямилась. Глаза сверкнули.

– Гер-рой! – прогрохотала она. – Герой – войны! На колени, мерзавцы! перед героем! Все! Ниц!

Я обернулся к Семёну – единственному знакомому здесь человеку. Он чуть присел и вжал голову в плечи, но на колени всё же не опустился. Другие лакеи тоже падать не торопились. А сидящая к нам спиной кукла с высокой причёской и вовсе не шелохнулась, ухом не повела.

Всё это время я пытался придумать, как незаметно вытереть губы. Не рукавом же...

– Что, Сенька, разбойничья рожа? – подбоченилась маменька. Из Кассандры она превратилась в купчиху Островского. – Ты не смей ухмыляться мне. На конюшню отправлю. Чего встал столбом? Вези молодого графа к столу.

Видимо, расстреляв первый боезапас и удовлетворившись произведённым эффектом, маменька села на своё место – а мы с Семёном возобновили движение вглубь гостиной.

Поравнялись с молодой женщиной, она подняла на меня прозрачные ничего не выражающие глазищи...

О боже, только не это, подумал я.

Вернее, так подумала моя актёрская половина. В отличие от Людмилы Ивановны, эту девушку я узнал сразу. Да и сложно было бы не узнать: последние пару лет она таким же голубым взглядом смотрела с каждой журнальной обложки, с каждого кинопостера, причём мне всегда казалось, что фо-

тография одна и та же, только фон подкладывают другой.

Конечно, Людмила Ивановна Ледовских не была никакой «знаменитостью первой величины», а была траченной молью полузабытой актёркой, – но Гололобова не была актрисой вообще. Олимпийская фигуристка, телеведущая – и вот недавно её стали снимать во всех сериалах на Первом канале, мороженая треска, ругалась Марина (моя жена, тоже актриса, правда, в отличие от трески, без ролей).

Боже, как с ней играть? – ужаснулась моя актёрская половина. В реальности у меня ни братьев, ни сестёр не было, но понятно же, что между сестрой и братом должна ощущаться какая-то доверительность, нежность... а эта смотрит – и ноль. Нет, какое ноль, минус тридцать.

Арктическая пустыня. Льды.

Но, повторяюсь, так воскликнула только актёрская, профессиональная половина меня – и то обращаясь мысленно к жене Марине. Мужская моя половина задумчиво отфиксировала стройность, складность фигурки, безукоризненную гладкость кожи, прохладную бледность, свежесть... и промолчала.

– Алёша, – выговорила Гололобова именно с той степенью выразительности, с которой кукла говорит «мама».

Нет, вру. В том, как она произнесла моё имя, мне почудилась некая неоконченность, тень вопроса:

– Алёша?..

Мол, ты ли это? Тебя ли мы ждали (или «я ждала»)?

– «Оленька», – подсказал мне наушник.

– Оленька? – повторил я, скопировал, чуть усилил, чуть передразнил.

– Целуетесь рука в руку.

Опять это загадочное «рука в руку»... Я нерешительно приподнял с подлокотников локти. Гололобова, в отличие от меня, знала, что делать. Положила на мою левую ладонь свою правую, неожиданно лёгкую, – а мою правую руку взяла своей левой, потянула к себе, наклонилась и не спеша, обстоятельно поцеловала.

Моя коляска была довольно высокой (была и остаётся – я и сейчас в ней сижу, пишу за столом). Выше обычного стула. Гололобова была в открытом платье. Когда она наклонилась, я увидел под собой голые плечи, идеально чистые, ровные, лакированные, – и аккуратную, небольшую округлую грудь.

Поцеловав мою руку, Гололобова посмотрела на меня исподлобья, не моргая, своими огромными кристаллическими глазами – что этот взгляд означал, и означал ли вообще что-нибудь, для меня осталось загадкой. Это могло быть и ожидание, и презрение, и отвращение, и жестокость, и вызов – в зависимости от того, какую музыку подложить. Я только успел подумать: какие маленькие зрачки. Но горделивое чувство определённо меня кольнуло – не каждый день мне целовали руки двадцатипяти-или-сколько-там-летние олимпийские-или-какие-там чемпионки...

Тьфу, как трудно, оказывается, писать! «Кольнуло» –

обычное слово, неточное. Не кольнуло – а словно бы приложил лёд к лицу или к шее, и за шиворот потекла холодная струйка. Вроде бы неприятно... или приятно, не разберёшь. Как назвать одним словом?

Я спохватился – и забытую Ольгину лапку тоже поцеловал: её рука, в отличие от маменькиной, была стерильно чиста, ничем вроде не пахла (может быть, чуть-чуть мылом). Целуя, я схулиганил: скользнул по бледной коже губами туда-сюда – и ухитрился стереть почти весь маменькин крем.

– Эй ты! – крикнула маменька, перехватывая внимание. – Как тебя, Сенька! Положи его сиятельству галантина!

Один из лакеев (сам главный повар Маврикий, тогда я этого не знал) метнулся было к блюду с желеино-ветчинным рулетом, чем-то замысловато нафаршированным, – но маменька с размаху шлёпнула его по спине:

– Стой! Не тебе приказала. Пусть Сенька подаст!

Положив на тарелку три кружка ветчины, камердинер подкатил моё кресло к столу. Колени не пролезали. Пришлось сесть к столу боком: Семён примостил меня так, чтобы к маменьке я был повернут спиной, а лицом, или, скажем так, рулевым колесом – к Гололобовой.

Галантин оказался невероятно вкусным. Я ничего не ел почти сутки: вчера утром было не до еды; в Гемоцентре пил воду из синей бутылки; в актёрском агентстве – чай с кусочком печенья; у Камиля опять чай, – и ближе к ночи в озвучке мне перепало три бутерброда, бутылка пива – и всё.

Камердинер накладывал мне на тарелку какой-то невероятный паштет, потом блины, тоже необыкновенные, нежные, бархатистые (как я потом узнал, «гурьевские» блины), я подумал: хоть кормят здесь хорошо... Нет, какой хорошо, шикарно...

– Как спалось, Алексисъ? – маменька не замолкала. – Мне вот – ужасно, ужасно! Глаз не сомкнула. Всю ночь на заднем дворе что-то пилили, стругали... Кто – ночью – пилит – дрова?! Я вас – спрашиваю! – загремела она, подняв голову и обращаясь опять не ко мне, и не к Ольге, и не к безответным лакеям, а к небесам.

* * *

Я помню этот момент: сижу неудобно, боком, жую ветчину и думаю: «Вот здесь я теперь живу. Здесь мой дом».

Как будто, знаете, пинцетом вынули из настоящей семьи – и в другую пересадили. Вот эта мороженая – моя сестра. А эта безумная – маменька. То сюсюкает, то Кассандру из себя корчит...

Теперь, спустя несколько месяцев, я, кажется, понял, откуда эти её перескоки – и попытаюсь вам объяснить.

У нас было упражнение на первом курсе. Мы все сидим на полу, нас семнадцать студентов (и Камиль в их числе, и Алка). Пауль Максович говорит: представьте, что у вас внутри – селекторный переключатель. Как на стиральной маши-

не – круглая ручка. Вы выбираете режим стирки: «Шерсть», «Хлопок», «Синтетика»... Девушки знают. А у вас каждый режим – это чувство, эмоция. Я называю эмоцию, – говорит Целмс, – и вы поворачиваете переключатель. Радость!.. Отчаяние!.. Любопытство!.. Гнев!.. Снова радость!..

Смысл в том, что актёр должен менять эмоции по заказу. У любого нормального человека между чувствами есть границы, переключиться бывает трудно, на это уходят минуты, или часы, или дни... Я, как вы поняли, в технике не силен, но я себе представлял эти перегородки между эмоциями будто некие внутренние шпеньки. У обычных людей эти перегородки высокие, прочные, внутренняя пружина тугая: чтобы повернуть ручку, нужно усилие или время.

А у актёра всё это перещёлкивает легко. Надо заплакать – заплачет. Надо захохотать – захохочет. Профессия.

Так вот, маменька, то есть Людмила Ивановна Ледовских, за свою актёрскую сорока-с-чем-то-летнюю жизнь разболтала это колёсико так, что все эти внутренние шпеньки стёрлись напрочь, пружина вообще улетела. И в результате колёсико произвольно и непредсказуемо перескакивало из режима в режим.

Чаще всего оно застревало в одном из двух положений. Первое – древнегреческое величие, Клитемнестра, Медея. Или, скорее, какая-нибудь звезда, игравшая эту Медею или Клеопатру, – Элизабет Тейлор или Алла Демидова – трагическая героиня, которой она завидовала и тянулась всю

жизнь, да так и осталась Люськой.

Вторая маска выглядела чуть естественней. Хозяйка в доме. Всех тормошит, всеми распоряжается. Самодурка. При этом якобы добрая, понимающая (мне эта её душевность казалась ужасно фальшивой, хотелось её стереть с себя, как тот крем...)

Причём ни в том, ни в другом режиме из маменьки не получалось графини Орловой. С Клеопатрой – явно был перебор: не графиня, а императрица, вдовствующая королева. А эта вторая – наоборот, недолёт: какая-нибудь купчиха, мешанка...

Кабы у маменьки в ухе сидел режиссёр, который её направлял: тише, громче, медленнее, быстрее – может, и получилось бы что-то толковое. Но режиссёра не было, как у всех нас, вот её туда-сюда и мотало.

4

Убедившись, что, пока я не разделаюсь с галантином, толку от меня нет, маменька повернулась к Ольге:

– Читай!

– Уж четвёртый раз, маменька...

– И десятый раз перечтёшь! Не абы кто пишет, а лучший жених всея Российской империи! – Маменька не по-графски мне подмигнула: – Дружок твой, Мишель. Ольга, ну же!

Гололобова взяла со стола письмо и продолжила с полу-

слова:

– «...закончили грандиозные приготовления к конгрессу, призванному укрепить пошатнувшееся единство Европы...»

– Это всё пропусти! Про сердца читай.

– «...Невзирая на расстояние, сердца наши соединены неразрывными узами, – произнесла Гололобова тем же тоном, которым читала про пошатнувшееся единство. – Рассеяния, окружающие меня, не в силах подавить грусть, которую я испытываю в глубине сердца...»

Маменька шумно вздохнула.

– «...в глубине сердца со времени нашей разлуки. Если бы неотложные дипломатические дела не задерживали меня, я был бы уже на пути в Россию. Поверьте, графиня, что я использую для возвращения первую же возможность, и мы наконец объявим наше намерение...»

– «Графиня»? Так он тебе и пишет, «графиня»? – фыркнула маменька. – Мы с вашим батюшкой так чопорны не были... Кстати, где он? Давно с охоты своей вернулся, а завтракать не идёт. Митька! Где граф Кирилл Ильич?

От стены отделился восточного вида юноша в сюртуке, неприлично красивый, с глазами такой длины, что на лице для них не хватало места и они загибались к вискам. (Как потом выяснилось, это был управляющий дома Дмитрий Васильевич, Митя, Митенька. Оленеокому юноше эта роль категорически не подходила.)

– Граф одевается, – тихо, нежно, застенчиво, с явным гру-

зинским акцентом ответил юноша.

– «Адэваэца», – передразнила маменька. – Ну а тебе, Алексис, пишет друг твой?

Я замер над галантином. Какой ещё друг? Ах, тот, который Ольгин жених? Как его звали?..

– «Нет, маменька», – подсказала мне Саша.

– Нет, маменька, – я развёл руками. – Не пишет.

– Так сам ему напиши. Небось не чужой человек.

Маменька всех по очереди теребила, все должны были подчиняться её капризам, водить вокруг неё хоровод.

– Каково, Ольга? Скоро станешь княгиней Долгорукой!

– Ах, маменька, – ровным голосом произнесла Гололобова и дотронулась пальчиками до гладкой пластиковой щеки. – Всегда вгоните меня в краску.

Ой-ё-ёй, подумал я. Мрак. Паноптикум... Ещё какой-то красавец грузинский, зачем, при чём здесь? Как его вообще взяли с таким акцентом? Это у них называется «звёзды»... Сейчас всплывёт батюшка, небось, такое же... такая же «первая величина»...

Не успел я подумать, как дверь распахнулась и в гостиную быстро вошёл – небольшого росточка, широкий, крепкий, с белыми бровями, контрастно яркими на мясистом красном лице, с белыми волосами вокруг красной лысины, добродушием напоминавший большую собаку, брылястую, вроде сенбернара или московской сторожевой...

Ух ты! Жуков! – я обрадовался как родному, хотя мы и

знакомы-то почти не были, никогда не работали вместе. И, показалось, все в комнате, даже лакеи по стенам, – все посветлели, заулыбались. Такой был дар у Бориса Васильевича Жукова: у своих и чужих, у далёких и близких – у всех вызывать чувство радостного узнавания.

Ну, хоть здесь грызун не наврал: может, Жуков был и не самая «первая величина», но уж точно «вторая с плюсом» или даже «полупервая», – и, самое главное, просто очень хороший артист, народный – не только за выслугу лет, а по сути. Олдскул. Вот с кем поиграть в удовольствие: сразу планка, азарт...

Правда, за первой радостью догнало и недоумение: что у них за представление о графьях? Люська, сорок лет назад сыгравшая эпизодическую проститутку, – и это была её лучшая роль. Какая она графиня? Смешно. Да и Жуков, при всём уважении... Из него получился бы грандиозный лакей, или конюх, или управляющий даже, вместо этого оленеокого, – но не граф...

– Кирилл Ильич, погляди, кто пожаловал... – начала было маменька.

Не слушая, старый граф приобнял маменькино кресло, чмокнул ручку (не ручку кресла, конечно, а маменькину) – и, в отличие от меня, чмокнул умно, не прикасаясь, а только загородив лысиной от камер, от невидимых зрителей, – но я-то рядом внимательно наблюдал, попадёт ли он в ту же ловушку с кремом... нет, не попал.

– Алексей! – отсалютовал по-военному, как полковник – младшему лейтенанту.

Распахнул объятия Ольге:

– Дочур-рка! Люблю! – Тут уж не на расстоянии, а со смаком расцеловал и обе руки, и голые плечики, как-то даже не по-родительски. Я вспомнил, что у Бориса Васильевича очередная жена, пятая или шестая, моложе его лет на тридцать. – Родная кровь! – Он даже подвинул свой стул ближе к Ольге и, соответственно, дальше от маменьки, которая с ревностью наблюдала. – Привёз гостинец дочурке...

– Покуда вы, граф, охотились, – сквозь зубы проговорила маменька, – мы получили письмо...

– Бифстек, – указал граф Маврикию, заправляя салфетку за воротник, и только потом обратился к жене: – Выехали ни свет ни заря, с голоду помираю...

– Письмо из Вены. – Маменька со значением понизила голос. – От князя Мишеля.

Старый граф мыкнул, не то подтверждая, что слушает, не то одобряя «бифстек».

– Князь Мишель пишет, что скоро будет в Москве. И *объявит намерение*.

Старый граф засопел:

– Объявит намерение... Обещал посулить... Вот объявит – обсудим.

– Что же здесь обсуждать? Во всей России не сыщешь партии лучше! Князь Долгорукой!..

– «Партия», «князь», – передразнил старый граф. – Я сопливым мальчишкой этого князя... Да что я – вон, Алексей его помнит мальчишкой. Наша фамилия ничем не меньше. «Князь Долгорукой», «князь Долгорукой»...

– Бурчи не бурчи, а надо готовиться к балу.

– Это всегда извольте. На молодёжь поглядеть. Пообедать как следует, пошуметь... Сколько гостей желаете пригласить, графинюшка?

– Двести!

– Ох... – закричал граф, – хо-х-хо-хох... Как думаешь, Митя, не убежать ли нам на охоту обратно?..

– Ну, хотя бы сто пятьдесят. Меньше уж никуда... Сто! Сто персон. Будь по-твоему, сэкономим. Устроим скромный вечер. Семейный...

– Ты смотри, Алексей, как это бабы умеют перевернуть. Мужчина – он экономию высчитывает от факта. Если, скажем, я сто рублей спустил в карты – какая тут экономия? Проиграл. А вот женщина рассуждает иначе. Могла ведь и триста рублей просадить – но вовремя остановилась. Значит, двести рублей... сэкономила!

– Я не про карты говорю, граф, а про помолвку твоей единственной дочери.

– Так, так... Митенька!

Грузинский юноша, явно робея, подрагивая на каждом шаге, подошёл к столу.

– Помнишь, мы отмечали Оленькины именины? Тоже бы-

ла добрая сотня гостей...

– Надо бы поторжественнее, – озабоченно вставила маменька.

– Во что это нам обошлось?

– Я должен справиться... с расходной книгой, – чуть слышно прошептал Митя.

– Сходи, братец, справься.

– Да поживее! – прикрикнула маменька Мите вдогонку.

Я любовался работой Бориса Васильевича. Есть такое актёрское выражение: «на чистом сливочном масле». Вроде бы у него и реплик особенных не было, и лицом он не хлопотал – а сразу как бы само собой было ясно: в дочке души не чаёт, отдавать её замуж не хочет, но заставляет себя смириться. Видно было, как ему неудобно, несвойственно думать и говорить о деньгах; как он всю жизнь любил пожить, «пошуметь» и, похоже, всё состояние растратил, теперь приходилось высчитывать, сокращаться – а хотелось-то как всегда, широко...

– Дружочек, Оленька...

Старый граф выудил из кармана длинного (как я потом узнал, охотничьего) сюртука коробочку с шёлковым бантом – и придвинулся к «дочери» ещё ближе, бок о бок.

– На балу будет в самый раз...

Пока Ольга развязывала бант, маменька успела и повздыхать, и поёрзать, и даже достать собственную коробочку, табакерку, и, смешно тарахтя, занюхать в обе ноздри. Едва

лишь на первом плане оказывался кто угодно другой, маменьку начинало плющить, и она всеми правдами и неправдами пыталась перетянуть внимание на себя.

Тем временем Ольга справилась с бантом, отщёлкнулась крышка – и на бархате вспыхнули синие грани, радужные, малиновые... Не знаю, из каких стёклышек были сделаны эти алмазы, но сделаны хорошо: я бы запросто принял за настоящие. Ольге не составило труда ахнуть, а мне эта хрустальная ленточка вдруг что-то сильно напомнила, какое-то важное, давнее обещание, особенно когда старый граф поднял её из коробки и в его толстых пальцах ленточка прокатилась волной. Ольга низко склонила голову. В гостинной как будто стало темнее, а этих двоих осветил невидимый луч. Я заметил пух на Ольгиной шее, на позвонках. Старый граф застегнул у неё за спиной ожерелье. На перекошенном маменькином лице, на стене рядом с сервантом отразилась короткая бледная радуга – мне показалось, что я вот-вот вспомню что-то счастливое, важное...

5

– Папенька! Голубчик мой милый, душенька, персик! – Ольга расцеловала старому графу брыли и лысину, тот размлел, покраснелся...

– Ах, как жарко здесь, душно! – Маменька издала стон. – Ну куда, куда натопили так?

– А я не чувствую, – отозвался граф, даже не повернувшись к жене, а любуясь своим подарком на Ольенькиной груди. – На мне-то вон сколько наверхено: и сертук, и жилет, и платок... Тебе, моя радость, не жарко? – Глядя в глаза народному артисту, Ольга пожалала тоненьким плечиком. – Что-то ты припозднилась, графинюшка. То в жар, то в холод... Или давление просто? Пройдёт. Потерпи.

Маменька аж задохнулась от ярости – и тут, не в добрый час, вернулся Митя с «книгами», то есть с горой толстых пыльных тетрадей, из которых криво торчали расхристанные-размухоренные листы.

– Погляди, Алексей, – старый граф отмахнулся, – я всё одно без очков.

Я обрадовался, что наконец превращаюсь из наблюдателя в действующее лицо, но маменька уже выхватила тетрадь.

– Это что? – она ткнула в первую открывшуюся страницу. Управляющий кашлянул.

– Свечи, ваше сиятельство, – ответил тихо, благовоспитанно, со своим грузинским акцентом. И продолжил на одной ноте зазубренный текст: – В бальной зале четыре люстры малые, по шестнадцать свечей, и две люстры большие по тридцать, итого только в люстрах сто двадцать четыре свечи. Затем («затэм») в малых простенках по шесть канделябров, в больших по десять, итого триста сорок свечей...

Акцент – это было ещё полбеды. У этого странного Митеньки был непоставленный голос. Начинающих актёров

всегда можно узнать: первокурсников так муштруют на занятиях по сценречи, что они, наоборот, звучат слишком густо, слишком окладисто, не по возрасту, до смешного. А этого оленеглазого не было слышно за метр.

Пока он бубнил текст про свечи, Сашенька определила задачу: в этой сцене я защищаю управляющего от графини, я третейский судья, должен сам понять Митенькины расчёты и объяснить воображаемым зрителям.

Мне хотелось сыграть хорошо, чтобы Жуков меня оценил как партнёра, принял за равного...

– Я не слышу! – оскалилась маменька.

– Митя, – вмешался я, – во сколько нам обошлись свечи?

– Вот... Пятьсот восемнадцать рублей...

– Что-о? Полтыщи целковых за свечи?!

– Маменька, подождите. Триста сорок свечей по полтиннику... – Я сам, конечно, не запомнил и не подсчитал бы, но в *ухе* у меня была Саша. – Выходит... сто семьдесят. А здесь – пятьсот?

– Да он просто мошенник!

Митенька оскорбился по-настоящему: на пушистых щеках выступил тёмный румянец. Раздув ноздри, юноша продолжал еле слышно, не глядя на маменьку и обращаясь только ко мне:

– Ваше сиятельство, вы забываете про перемену свечей. Свеча горит три часа, и то порою капает и чадит. В иных домах до половины не позволяют свече прогореть... Разумов-

ские, Долгорукие свечи тысячами покупают...

– Ты нам Разумовских не тычь! – оборвала его маменька.

– Мы соблюдаем строжайшую экономию. А если такой важный повод, помолвка её сиятельства, следовало бы и три перемены предусмотреть: съезд гостей в семь, а разъедутся за полночь...

– Спросите его про общую сумму расходов, – велела Саша.

– К чёрту подробности! – сымпровизировал я, радуясь, что получается в духе Жукова. – Общая сумма. Сколько всего нужно денег? Бал. Сто гостей.

– По меньшей мере... пять тысяч рублей, ваше сиятельство.

– Ах, папенька! – Ольга фальшиво всплеснула руками. – Такие траты, не нужно!..

Саша в *ухе*:

– «Имеются ли у нас пять тысяч?»

Я повторил. Митя опустил очи.

– А сколько есть?

– ...ста... ацть, – чуть не плача, прошептал Митя.

– Не слышу!! Сколько?

– Говорит, триста двадцать рублей, – перевёл я по Сашенькиной подсказке.

– Что-о?! Три-иста? Каких ещё триста?! Мы же о прошлом месяце получили оброк с подмосковной! Разбойник!

– Графинюшка, – страдальчески морщась, вмешался

граф. – Митенька дворянин. Ты оскорбляешь его подозрениями...

– Вор! Мерзавец! Куда дел оброк? Запорю!

– Митя, – я всё пытался, как было задано, выступить третейским судьёй, – и правда, скажи... скажите, какой был этот оброк, когда, где он?

Митя зашелестел что-то уже совершенно неразличимое... и тут всё вокруг – потолок, стены, шкафы – засвербело и загрохотало, как если бы во все стены разом стали долбить отбойные молотки. (Как потом выяснилось, одна-единственная ударная дрель в недостроенной части дома.)

Находясь внутри декорации, я забыл, что это не настоящий каменный дом, а коробка из гипсокартона. Но когда всё затряслось, зазвенело, задрожал стол, задребезжал в серванте хрусталь, а потом ещё стали гулко что-то вбивать, приколачивать – возникло чувство, как будто нас посадили в спичечный коробок и трясут...

– Б...! – крикнула маменька. – Это что за херня? – Почему-то она ткнула в Митю. – Как мне с этим работать?! Я не слышу ни слова, что он там блеет, б...! Понабрали обсосов! Я заслуженная артистка эрэсэфэсэр! Кто, я срываю? – Она орала уже не на нас, а в потолок, прижав ухо рукой. – Вы меня звали куда, на стройплощадку работать? Или на оэртэ? Я заслуженная артистка! Требую руководства! Немедленно!

У меня в *ухе* шоркнуло – и другой голос, мужской, произнёс:

– Уважаемые коллеги. Я шоураннер...

Вчерашний грызун. Причём не такой, какой был в начале нашего разговора, не опасливый, не на цыпочках – а каким стал к концу: прямой, властный, лениво-презрительный.

– ...шоураннер, сиречь руководитель проекта.

По лицам Бориса Васильевича, маменьки, всех остальных было видно, что они слышат то же самое, что и я.

– Я уполномочен в любой момент заменить любого работника, в том числе любого артиста, по соображениям как художественным, так и дисциплинарным. В связи с этим короткое, но достаточно важное объявление. Людмиле Ивановне...

Все смотрели на потолок. Там было, наверно, штук двадцать маленьких тёмных кружочков, как гвоздики, через равные промежутки.

– ...Людмиле Ивановне Ледовских по причине неоднократного нарушения производственной дисциплины выносятся официальное предупреждение. Относительно её просьбы – иду навстречу. Каждый сможет задать мне вопросы – завтра, в одиннадцать часов утра, в бальной зале. Все свободны, спасибо.

Почти минуту никто почему-то не двигался с места.

– «Заслуженная артистка», «заслуженная артистка», – пробурчал Жуков. – Ну, я народный, и что?

А я впервые подумал, что ему-то побольше, чем маменьке, явно за семьдесят. Семьдесят... три?

Маменька с Ольгой ушли на свою половину. Лакеи начали убирать со стола.

Саша мне сообщила, что нужно исправить косяк – не в переносном смысле, а натурально «стесать» или, не помню точно, как она сказала, «растесать» косяк двери в ванную, чтобы коляска могла свободно проехать. Поэтому её, коляску, сейчас заберут, а мне надо будет посидеть минут сорок в соседней комнате.

Я захотел прогуляться по павильону, Саша категорически отказала. У меня ноги парализованы, я не то что гулять, я двинуться не могу. Нельзя даже почесать ногу (естественно, сразу же захотелось). Только ночью под одеялом за ширмой.

Семён прокатил меня по коридору, и мы завернули – как потом оказалось – в кабинет старого графа, тогда ещё не готовый.

Там тоже был установлен домашний иконостас, такой же внушительный, как у меня, только завешенный целлофаном.

На полу брызги краски, засохшие червячки герметика.

Старинный шкаф в полстены – грязный, пыльный, пустой.

Обстановка (кроме иконостаса) напомнила мне дедушкин кабинет в Брюсовом переулке. У дедушки был похожий диван, широченный, мне всегда нравился кожаный запах. Я кувыркался со спинки и с подлокотников. Часами валялся –

рассматривал минералы из дедушкиной коллекции, он иногда давал поиграть. Мне особенно нравился магнетит, тяжёленький, весь в кубических выступах, удивительно было, что эти выступы такой правильной геометрической формы, – и завораживал лазурит: при электрическом свете он мог затаиться, прикинуться тускловатым, зато на солнце делался вызывающе ярким, неистовым...

Когда я подумал про лазурит, что-то забрезжило на границе сознания, заудело – что-то совсем недавнее, буквально только что, час назад, полчаса... Дедушкина квартира, холодок недостроенной комнаты, детское воспоминание, синева, сейчас вспомню...

– Лёшик! – раздалось в правом полушарии мозга. – Ты чего вздрагиваешь? Привыкай. Вот выкроила для тебя минутку.

Алла.

– Говорю с тобой по большой дружбе, Лёшик. Рискую. Только из-за твоей ситуации. Это я тебя предложила, сообщаю на всякий случай. Так вот, чтоб ты ориентировался: ты сейчас здесь, но это пока ничего не значит. Каждый может вылететь в любой момент. Люську меняем точно. Не тянет психологически, ты сам видишь. Все видят. Она, кстати, не от меня. Зачем её взяли, я так и не поняла. Вообще неуправляемая. А тебе, Лёшик, надо держаться, понял? Поэтому слушайся и веди себя хорошо. И на Сашку не бычь. Ещё скажешь спасибо сто раз. Остальные в подмётки ей не

годятся. Я имею в виду, остальные кондукторы. Уникальная девочка, вежливая, пунктуальная. Твоя поклонница, между прочим. Всё, бегу дальше. Работай, зайчик. Целую.

Вот так, подумал я. Дожили. Алка Касаткина со мной разговаривает сверху вниз. «Взяли благодаря мне». «Работай». «Целую».

Даже обидно не было. Было немного смешно. Кто б мог представить лет двадцать тому назад...

Алка была на курсе самая неинтересная – и как барышня, и как актриса. Всё, что она сказала про маменьку – «Не тянет, все видят... Зачем её взяли?.. Вылетит...» – двадцать лет назад в точности относилось бы к ней самой: никто не понимал, каким образом Алка прошла сумасшедший конкурс. После каждого курсового спектакля и даже этюда все ждали, что её выгонят из-за явной профнепригодности – но она получала вымученные тройки, просачивалась дальше, дальше – и таки доучилась.

Зато – незаменимая староста: все расписания, все задания, распределения, всем напомнить, достать реквизит и костюмы, с театральными мастерскими вовремя договориться, чтобы подогнали, подшили; я, например, всегда забывал и путал свои размеры, а Алка помнила чуть ли не наизусть.

Я не скажу даже, что её не любили... Но какая-то она была липкая. Такая вся из себя преданная, на всё готовая...

И теперь представьте меня двадцать лет назад. Тонкий, звонкий, высокий, «фактурный»... Это сейчас у меня воло-

сы потемнели и потускнели, и как-то даже подвыпрямились, а тогда были тугие, кудрявые, золотые... Машка мне говорила: «Ты понимаешь, Орлов, что мальчику такие губы иметь неприлично! И ресницы, боже мой... Ну скажи, зачем тебе эти ресницы, зачем?!..»

Плюс квартира в полном распоряжении – и какая квартира! От Школы-студии быстрым шагом четыре минуты. Бегом – три. Собственно, этот дом и был построен для МХАТа (тогда ещё МХТ). Подъезд в мемориальных досках: Москвин слева от входной двери, Качалов справа. Представляете, какое это производило на барышень впечатление? Особенно на театральных.

Они с замиранием сердца мечтали о мхатовской сцене – а я на неё выходил в возрасте семи лет. Был такой спектакль «Счастливый принц». По Оскару Уайльду. Меня Ия Саввина называла «золотоволосый мальчик»...

В общем, вы понимаете. Барышни шли косяком.

Где-то в хвосте косяка мелькала и Алка. Упорно гребла коротенькими плавничками. То случайно прижаться, то приобнять, то еды принести, то прийти раньше всех, пока квартира пустая...

Ну да. Пару раз, на скорую руку. Типа, не жалко. Всем хватит, ну и тебе заодно...

С ней был один случай... Вот интересно: за двадцать лет ни разу не вспоминал, а после этого разговора – точнее, после того, как Алка мне почитала нотации, – вспомнил.

Однажды она пришла раньше всех, принесла сумку с продуктами. Получила от меня что хотела – и, страшно довольная, побежала на кухню варить макароны (предварительно в ванной вымылась с головой и волосы сушить не стала, а заколола мокрые: пусть все видят, какая она в этой квартире хозяйка).

Дальше так. Мы с ребятами в комнате, что-то делаем интересное, выпиваем, болтаем, играем – может быть, даже в «правду» (сейчас расскажу).

Я выбегаю на кухню за чем-то: за чайником или в холодильник за водкой – но точно не к Алке, я и забыл про неё. А она преданно мне заглядывает в глаза и говорит задушевно: – Орлов. Я влюбилась...

А мне нечего ей ответить. Даже поцеловать неохота. Хочется назад к ребятам, к игре... Пауза.

Она усмехается и говорит:

– Ну что ты напрягся? Не в тебя влюбилась. В твою квартиру.

Я с облегчением выдыхаю, говорю что-то вроде «немудрено», беру что было надо, чайник, водку, и возвращаюсь туда, где мне интересно.

Отметьте, кстати, дипломатические способности Алки уже в таком юном возрасте: и сама сохранила лицо, и мне тоже позволила сохранить...

Но, видно, что-то было в голосе, когда она сказала «влюбилась». Мало ли кто мне так говорил, а этот случай я ведь

почему-то запомнил...

Да. Но я обещал рассказать про «правду».

Однажды – кажется, на втором курсе – мы показывали отрывки. В том числе был Островский, «Бедность не порок». Алка играла старую няню – ей всегда давали второстепенные роли, но она всё равно не тянула. Что-то она причитает – фальшиво-фальшиво – и говорит: «как снег на голову». «Упал» или «налетел» как снег на голову. Целмс её прерывает:

– Что такое «снег на голову»? Что вы этим хотите сказать?

Алка мямлит что-то невнятное. Тогда Целмс произносит целую проповедь про «актёрское слово»:

– Слова замусолились. Покрылись коркой. Актёр должен эту корку – взломать! Вернуть слову вкус и значение. «Снег на голову»? Алла, вы – голова. А вы (был у нас такой Саня Великопольский, метр девяносто семь) – вы, Александр, – снег. Давайте.

– Что давайте, Пауль Максимилианович?

– Падайте на голову. Нет, не так! Сверху падайте. С неба.

Великопольский встаёт на стул. Пауль Максович требует, чтобы он залез ещё выше, на парту. Алка маленькая, она с ужасом смотрит на огромного Великопольского, который всерьёз собирается на неё падать.

– Стоп! – говорит Целмс Великопольскому. Потом Алке: – Ещё раз с вашей реплики.

Алка читает тот же самый отрывок, и этот «снег на голо-

ву» и впрямь звучит по-другому: свежее, смешнее.

Это стало нашей любимой игрой – инсценировать разные выражения, половицы-поговорки. Нам всем по восемнадцать – по двадцать лет, вы понимаете, что у нас в голове. Тем более мы актёры, все из себя раскованные... Конечно, в первую очередь мы хватали те фразы, которые можно было привязать к сексу или к какой-нибудь физиологии. Одна парочка показала «резать правду-матку». Девочка была, собственно, маткой, а мальчик – хирургом. Все маленько сглотнули, зато запомнили. У игры появилось название: «в правду-матку». Потом сократилось до «правды»: «игра в правду».

Естественно, фигурировало выражение «голая правда», Светка Ситникова по кличке Света-конфета устраивала стриптиз... Очень смешно сделали «зуб на зуб не попадает»... А мы с Машкой (была у меня большая любовь на втором-третьем курсах) репетировали «рука руку моет». Правда, без зрителей. В ванной...

* * *

Через несколько лет – я уже был женат на Марине, Сей Сеичу было три года – меня эта «игра в правду» очень выручила в семейной жизни.

Тут я должен признаться – я ведь вам всё честно рассказываю, а иначе какой смысл, правильно? – после женитьбы

я отношения с барышнями не свернул.

И, между прочим, большого «греха» тут не вижу. Просто у нас извращённое отношение к сексу. А взять, например, Кубу или Таити – они что, все «грешники» там, поголовно?

Нет, я понимаю, если насилие. Если обман, какие-нибудь тяжёлые разрушительные отношения... А если красиво, легко, обоим приносит радость – объясните мне, в чём проблема?

Для меня секс – вообще не про физиологию. Я считаю, это язык общения. Очень богатый. Если его изучить. В частности, я поэтому не имел дела с девушками. В физическом смысле, с девочками. Никогда. Хотя желающих было хоть отбавляй. Я всегда уклонялся. Вот это действительно было бы и нечестно, и гадко, и, если хотите, «грех». Нет, я за то, чтобы ответственность делилась поровну. Когда все знают, на что идут и зачем. Когда только переглянулись – и уже всем понятно, чем кончится. Но каким путём вы оба выйдете на эту коду, какие перипетии – каждый раз что-то новое. В этом весь интерес. В диалоге. Завязка, развитие, ускорение, паузы, текст, подтекст...

И вот убейте меня, не пойму: всю жизнь вести диалог с одним-единственным человеком – разве не скучно? Разве все темы не исчерпаются?

А почему тогда можно на сцене играть то с одной, то с другой? Там знаете какие мощные чувства бывают! Никакой секс не сравнится.

...А танцевать можно? А петь? Хорошо, разговаривать – просто говорить – можно, нет?

Ну тогда давайте как в Афганистане – наденьте всем на голову мешки. И закройте. И мужчины, кстати, тоже пусть не разговаривают друг с другом. И женщины. Чтоб уж наверняка. А то мало ли. И пусть каждый сидит в своём бункере. Без интернета, как здесь у нас, в «Доме Орловых»... Ведь бред же?

Ну ладно. Вообще-то я хотел рассказать, как мне помогла «игра в правду».

Как-то раз мы с очередной, скажем так, собеседницей забирали Сейку из детского сада. На самом деле, это случилось довольно редко, чтоб я его забирал. Я мало времени проводил дома: всё больше по антрепризам и по концертам, по съёмкам иногда... Но тут – то ли Маринка была занята, то ли что – короче говоря, я зашёл за ним в садик. Барышня нас снаружи ждала. Почему-то я её заранее не прогнал. Мы с Сейкой вышли из садика, идём втроём. Я думаю: даже если расскажет матери – ну и что? Знакомую встретили. Я барышню строго предупредил: при ребёнке никаких нежностей. Она честно держит дистанцию (Сейка идёт между нами).

Попрощались с ней за руку, как подпольщики, она смотрит на меня, вздыхает и говорит: «Ах, Орлов! Глаз не отве- сти...» Мол, красивый ты парень.

Зараза.

Идём с Сейкой к подъезду. Он спрашивает:

– Почему «глаз не отвести»?

Я говорю, типа, ой, смотри какая ворона.

Он повторяет:

– Почему «глаз не отвести»? Что такое «глаз не отвести»?

Очень чётко.

Не то чтоб я боялся Маринку, она, думаю, в общих чертах представляла себе мою личную жизнь... но всё равно неприятно: будет язвить, надуется... И я – знаете, по-актёрски, на сцене ведь бывают всякие неожиданности: партнёр текст забудет, надо мгновенно соображать, – я вдруг вспоминаю: у Сейки есть такая игрушка, зелёный глаз на ножках, из «Корпорации монстров». Говорю:

– Домой его не отвести. Вот я тебя сейчас домой отвожу, а глаз домой не отвести.

Он переспрашивает:

– Почему «не отвести»?

– Потому что он не идёт. Его хотят домой отвести, а он не хочет.

Сейка радуется:

– Не идёт! Не хочет и не идёт!

Слава богу, думаю я, прокатило. Приходим домой, Сейка сразу находит этого Майка (глаз звали Майком... причём с какой-то польско-еврейской фамилией... не то «Возняцкий», «Вознячки»...) – и мы потом, наверное, год играли: я был глазом, Сейка меня пытался вести домой, а я всеми

способами отбивался, прятался, залезал под кровать... «Папа, давай играть в “глаз не отвести”...»

7

Я понял страшную вещь.

Я вам отправил уже, наверное, страниц сто – а рассказал только про первый вечер и первое утро. Начал писать в марте – а сегодня у вас, во внешнем мире, первый день лета. (У нас-то ещё середина мая. Мы в «Доме Орловых» живём по старому календарю.)

Получается, я больше двух месяцев описываю одни сутки. А за эти два месяца ещё много чего произошло. Это даже не Ахиллес с черепахой⁴, это наоборот: Ахиллес убежал, а я, как черепаха, тащусь... Выход один: превратиться из черепахи в лягушку или в кенгуру, перепрыгнуть через несколько дней, или недель, или месяцев...

Жалко, что вы не смотрите «Дом Орловых». Вы же должны понимать, чем мы дышим. Вкратце перескажу сюжет.

⁴ К моему удивлению, отнюдь не всем участникам первой читательской фокус-группы была известна эта классическая апория: «Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Ахиллес никогда не догонит черепаху». Настоятельно рекомендую будущим шоураннерам повышать общеобразовательный уровень.

Давным-давно, ещё при императрице Екатерине, жили-были два друга: граф Кирилл Ильич Орлов – и князь Иван Ростиславович Долгорукий. Вместе пили-гуляли (я сразу себе представляю наши гулянки в Брюсовом переулке), вместе ухаживали за барышнями (были даже намёки, что вместе ухаживали за моей будущей маменькой – но граф Кирилл оказался настойчивей). Одновременно женились, у них родились сыновья – сначала я (крёстным, конечно, по-звали князя Ивана), потом Мишель Долгорукий. Вслед за родителями и мы с Мишелем дружили, причём я как старший немножко его опекал.

С тех пор как родилась наша Ольга, считалось само собой разумеющимся, что они с Мишелем поженятся, когда вырастут.

Однако всегда была незаметная трещинка между нами и Долгорукими. Хоть папенька и любил повторять, что наша фамилия Долгоруким не уступает в древности, в знатности... Но одной древностью сыт не будешь. Пока папенька весело и бестолково играл в бостон и охотился, князь Долгорукий устраивал свои дела, крепил придворные связи... Да ещё всякие бабки-тётки удачно поумирали, так что князь сделался, по современным меркам, миллиардером. Плюс очень большим придворным вельможей. Так что идея

женитьбы Мишеля на Ольге привлекательность подрастеряла (с точки зрения князя). Тем более что Мишелем заинтересовалась одна из великих княжон – то есть родственница царя. А это уже самый что ни на есть Олимп...

В этой точке и начинается сериал.

Между графом Кириллом и князем Иваном накапливается напряжение. При этом все хотят выглядеть благородно. Князь не может сказать старому другу в глаза: ты теперь не мой уровень, я хочу сына продать подороже. И у графа (у папеньки) своя гордость, он тоже не хочет, чтобы к нему снисходили, – да и вообще не жаждет выдавать замуж свою любимицу... Тогда вроде бы нет проблем? Пускай Ольга останется с нами, а Мишель женится на своей великой княжне?

Но нет: Мишель тоже хочет иметь право голоса. Хоть он и сам карьерист, с юности на дипломатической службе и всё такое, но великая княжна старая, страшная, а наша Оленька прелесть. Может, страстной любви нет ни с той стороны, ни с другой – но есть дружба, привычка, детские воспоминания... Да и просто – когда родители строят на тебя планы, хочется сопротивляться. Отсюда новая линия напряжения – между старым князем и молодым.

Плюс маменька спит и видит, как дочь станет княгиней. Капает про это Ольге...

Вот такая конфигурация.

Всё, что я вам рассказал в двух словах, мне никто так же просто и чётко не объяснил. Приходилось выуживать по чайной ложке. Мы встречались с Ольгой и с маменькой в синей гостиной за завтраками и обедами, в сиреневой – за ужинами, мусолили одно и то же: Мишель в Европе, но собирается ехать, нет, чего-то не едет, но скоро приедет, будет объявлено о помолвке, надо устроить бал, денег нет, и так изо дня в день по кругу...

Утром не успевал я открыть глаза, как слышал ворчливо-заботливый голос Семёна. Меня поражала скорость его появления – не дежурил же он у моего изголовья всю ночь? Саша мне объяснила: таблетка в ухе, помимо того что служила наушником и микрофоном, считывала пульс и давление – клиент только начинал просыпаться, а кондуктор уже знал об этом, давал команду слуге.

Умывшись, я минут двадцать тупо сидел перед иконами и «молился». Став инвалидом, мой персонаж ударился в набожность. Мне в *ухо* включали запись – какой-то дядька (я представлял себе монаха, мрачного, чёрного, до глаз заросшего бородой) монотонно гудел на вышедшем из употребления языке: поначалу я понимал только «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй...» Я должен был время от времени шевелить губами, креститься.

Как именно надо креститься (в смысле, как правильно складывать пальцы), как «подходить под благословение», – все эти религиозные телодвижения нам показал специально нанятый семинарист. В эфир мы ещё не вышли, трансляция не началась, но надо было вести себя так, будто мы уже работаем в кадре. Хотя иногда делались исключения – вот, например, занятия с учителями. Кроме семинариста, к нам приходили преподаватели каллиграфии, этикета и танцев (в танцах я не участвовал).

С семинаристом был анекдот. Он и сам был смешной, Ваня (все его сразу стали звать Ванечка), в нелепой чёрной хламидомонаде с беленьким воротничком. Лицо у него было румяное, круглое и тоже очень смешное: круглые глазки и ротик были слишком тесно прилеплены к носу, так что вокруг оставалось слишком много пустых круглых щёк.

Как ни странно, Борис Васильевич к этому безобидному Ванечке с первого дня стал цепляться. Может быть, у него (у Жукова, я имею в виду) были какие-то свои счёты с церковной темой.

А мальчик – наоборот, из всех нас знал одного Бориса Васильевича и не верил глазам, что перед ним – артист из телевизора, а он, Ваня, этого пожилого артиста чему-то должен учить: краснел, бледнел, обмирал...

Однажды Борис Васильевич говорит:

– Вы мне напоминаете моего младшего внука.

Ванечка с придыханием:

– У вас большая семья?

Жуков:

– Да у меня их полно.

Ванечка с наивящим почтением:

– Много внуков? Детей?

– Нет, семей.

Мы с маменькой просто легли. Чёрт с младенцем, точная иллюстрация.

– Детей, правда, тоже хватает. То там, то сям. Образуются...

У мальчика такое непонимание на лице, такой ужас, он весь такой чистенький, правильный, так благоговееет перед народным артистом – а у народного артиста рога и хвост... Мы хохочем...

Вообще, при ежедневном общении с Борисом Васильевичем обнаружилось, что под маской безобидного добродушного увальня – совсем другой человек. С утра Жуков часто бывал сосредоточенно мрачен и, мне казалось, медленно и с усилием разминал себя, заставлял себя расходиться, разыгрываться. Но когда доходило дело до важных сцен, работал всегда очень чётко. Я пытался пробиться к нему поближе, произвести на него впечатление... Не тут-то было. Он появлялся, всегда уже загримированный, пахнувший одеколоном, отыгрывал свои сцены – и исчезал. Между нами как будто была невидимая заслонка.

Поэтому мне особенно глубоко запали в голову (или, не

знаю, в душу) те редкие случаи, когда я чувствовал, что он меня слышит, видит, сосредоточен на мне. Например, разговор в бальной зале перед собранием.

* * *

Вы помните, чем закончилась моя первая встреча с новой семьёй: маменька закатила истерику. Во всех наушниках появился грызун и сообщил, что завтра нас ожидает большой разговор.

На следующее утро, ближе к одиннадцати часам, в залу (ту самую, золотую-зеркальную) стали подтягиваться лакеи в ливреях и париках. На новом месте прошло меньше полутора дней, а я уже привык, что лакеи двигаются бесшумно, распределяются по простенкам и не шевелятся, пока их не позовут. Этим утром они вели себя не как статуи, а как обычные люди: толпились кучками и болтали. И даже сажались: с тех пор никогда не бывало, чтобы лакеи сажались в моём присутствии.

Чем ближе к одиннадцати, тем собиралось больше народу: горничные, приживалки, Митя в сюртуке, повар в белом... Когда вошёл старый граф, одни лакеи встали и поклонились, другие полупривстали, горничные тоже как-то неловко полуприсели: было видно, что при «хозяевах» они чувствуют себя скованно. Жуков сел со мной рядом. Он был в необычно хорошем расположении духа для этого времени суток, бодр

и свеж.

– Наших дам ещё нет? – спросил он. И вдруг, не успев ответить, причмокнул: – Эх, Лёша...

Единственный раз он меня так назвал: всё наше общение проходило в рамках сценария, там я был «Алексей», «Алексей Кириллович» или «Алёша», даже «Алёшенька», но уж никак, конечно, не «Лёша»:

– Эх, Лёша, видал бы ты её молодую... Люську. Семьдесят пятый... четвёртый? Ё-моё, почти полвека назад. Какая была красотка! Она же харьковская. Даже не с самого г'оруду Харькиву, а с-под Харькива – не то с Чуг'уева, не то с Дерг'ачей... Ты бывал? Я бывал. Таких девок, как в Харькове, нигде нет. Вообще украинки красотки, красуни, но харьковские – это особ статья. Был такой режиссёр Переверзев, Сергей Семёныч. Снимал фильм «Илья Мечников». И в какой-то деревне под этими Дерг'ачами в массовке подцепил Люську. Ему было уже хорошо за полтинник, а ей лет семнадцать. А может, даже семнадцати не было. Ещё в школе училась. Он её вывез в Москву. За ней толпы ходили. Лань, чисто лань! Глазищи!.. Как Настя Вертинская, только лет на десять моложе...

– И вы ходили, Борис Васильич?

– Куда мне! Там такие зубры бодались... Не помню, кто её первым отбил у Переверзева. То ли Басов, то ли Джигарханян... И поехало...

Что именно и куда поехало, Жуков не досказал, потому

что в этот момент появилась сама героиня в сопровождении Оленьки. Борис Васильевич подмигнул мне и отвернулся.

В зале уже собралось человек пятьдесят. Я и не подозревал, что в доме столько народу: слуги работали в несколько смен. В дальних комнатах и в коридорах начали бить часы.

8

– Приветствую вас, коллеги, – раздался из-под потолка знакомый голос, многократно усиленный невидимыми динамиками. Гигантская землеройка, с хоботом как у слона.

Все подняли головы.

– Где вы? – воскликнула маменька.

– Во-первых, графиня, голос можно не повышать, я прекрасно слышу ваш микрофон. Во-вторых...

– Мы вас ждём! Мы хотим вас увидеть!

– Во-вторых, не надо меня перебивать. В-третьих, никаких «мы» здесь нет. Высказывайтесь за себя. И в-четвёртых, нет, вы меня не увидите.

– Почему-у-у? Вы же нам обещали!

– Отнюдь. Я обещал побеседовать – мы беседуем. Никто не говорил, что эта беседа будет очной... Горничные, прекратите шептаться, мне это мешает.

Итак. Прежде всего, мои поздравления: при вашем участии будет создан суперпродукт. Мы с вами дадим ответ на вопрос о русской национальной идее. Да, ни много ни ма-

ло. Если вы проведёте мировой референдум на тему «Вклад России в цивилизацию?» – победит великая русская литература. С большим отрывом. Если вы спросите: главная книга русской литературы? По ряду авторитетных рейтингов – «Война и мир». Теперь скажите: главная сцена «Войны и мира»? Не стесняйтесь. Что за картинка?

– Бородино? – предположил старый лакей с большими красивыми бакенбардами.

– Слишком дорого.

– Первый бал?..

– Разумеется! Поэтому мы – в бальной зале. Здесь начнётся наш фильм. Первый в истории телевидения многосерийный художественный фильм в режиме реального времени, круглосуточно, лайв! Зачем мы так усложняем себе задачу? Чтобы зритель поверил нам безоглядно, без доли сомнения. Вы все здесь – актёры. Но в «Доме Орловых» вы не можете исполнять роли. Этого мало. Вы должны оказаться в 1830 году – как говорится, душой и телом, безоговорочно, без остатка... Вчера у нас произошёл инцидент. Одна из актрис позволила себе употребить современную лексику, употребить нецензурную лексику... Тише, тише!.. Драгиваться до наушника, разговаривать со своим кондуктором вслух. Первой моей реакцией было: немедленно распрощаться с этой актрисой. Потом я решил собрать вас всех здесь, чтобы в последний раз повторить: когда вы в периметре декорации, на площадке, вы не имеете права выйти из ро-

ли, будь то роль маленькая или большая, с текстом или без текста. Инфаркт, инсульт, наводнение – вы остаётесь своим персонажем. Если пожар – вы кричите «Горим!» и покидаете декорацию, но вы не имеете права произнести слово «огнетушитель». Если у вас приступ аппендицита – вы требуете «доктора» или «лекаря», но не «скорую помощь». Дальше не ваша ответственность, а моя. Я отвечаю за ваше здоровье, за безопасность, за все компенсации и так далее. Вы отвечаете за доверие зрителя. Нарушитель не просто лишится лучшей работы в жизни, не просто вернёт всё, что он заработал – или она заработала – но и получит все возможные санкции в полном объёме... Тише, пожалуйста! Я заканчиваю. Кто не готов – пусть уходит сейчас. У нас с вами огромный, самый сложный, я скажу прямо: великий проект. Испортить этот проект я никому не позволю. Наверное, пока всё. Вопросы? Пожалуйста, Ферапонт.

Представительный пожилой лакей с бакенбардами – тот, который вспомнил про Бородино, – спросил, покрывается ли зубной мост медицинской страховкой. Пока грызун отвечал, я пытался представить его себе – не как гигантскую землеройку, а по-настоящему. Я думал, что это за человек. Почему от нас прячется?

Да потому что боится. Вообще боится людей. Целыми днями сидит перед компьютером. Всё пытается просчитать, предусмотреть: «во-первых»... «в-двадцать седьмых»...

Боится выглядеть жалким. Потому что он и есть жалкий.

Маленький. Ручки слабые. Пальчики тонкие. Зубки маленькие. Волосики редкие... Может быть, лысоватый, лысеющий. Бледный. Серый...

Задавая вопросы, все – старый лакей с бакенбардами, другой лакей, горничная с испуганными глазами – поднимали головы, будто бы обращались к какому-то высшему существу. Тьфу, смешно...

... – Замолчите сейчас же! – вдруг загредело под потолком.

Несколько человек натурально пригнули шеи. Та горничная, которая задавала вопрос последней, стала оправдываться, грызун на неё напал, шипел и щёлкал зубами.

– Вы не смеете раскрывать условия своего контракта!

– Где я раскрыла?

– Вы спросили: «Когда мы выйдем в эфир и я начну получать полную ставку?»

– Ну и что?

– Это значит: ваша оплата зависит от того, в эфире мы или нет. Может быть, у всех такие условия. Может, у половины. А может быть, у вас одной. Вы не имеете права открывать это – никогда, никому!..

Он ещё какое-то время побушевал, поугрожал своими «санкциями», но ограничился тем, что вынес горничной – её звали Агафья – предупреждение.

На вопрос об эфире всё же в итоге ответил, но обтекаемо. Я понял так, что сейчас идёт какой-то другой сериал под на-

званием «Остров», тридцать две серии, и когда он закончится – скорее всего, в конце февраля, – в эфир выпустят «Дом Орловых».

– ...Но мы должны быть готовы к премьере ежесекундно!

– Какое готовы, если пилят-строгают... – подковырнула маменька. – Да, а что это такое значит, «предупреждение»? У меня тоже «предупреждение». Это плохо?

– Да, это плохо. Начнём с того, что я имею право в любую минуту уволить каждого из здесь присутствующих, – со вкусом повторил голос. – Но для вашей пользы – подчёркиваю, не для моей, а для вашей, чтобы вы лучше ориентировались в моменте, – я также вправе вынести предупреждение. Одно, второе, на третий раз автоматически увольняю. Хотя за тяжёлый проступок могу уволить немедленно. Ещё вопросы?

– Вы, я так понимаю, продюсер? – осведомился Борис Васильевич. Я чувствовал, что его, как и меня, этот голос из поднебесья, вся эта пафосная околесица и забавляет, и злит.

– Шоураннер.

– Я, видите ли, реликт. Обломок прошлого века. Кто это, «шоураннер»?

– Тот, кто решает, куда история будет двигаться.

– То есть вы – сценарист?

– Сценаристы – в числе моих подчинённых. Я утверждаю каждую реплику. В том числе каждую вашу реплику, граф. Направляю процесс.

– Чем это отличается от продюсера?

– Продюсеров на проекте человек двадцать. Есть генеральные, есть исполнительные, есть сопродюсеры, есть линейные... А шоураннер один, это я.

– Ну допустим. А с режиссёром можно поговорить?

– Режиссёра в привычном понимании у нас нет. Говорите со мной.

– Как мне к вам обращаться?

– Шоураннер.

– «Господин шоураннер», «сэр», «пан шоураннер»?

– Как вам угодно.

– Ну что ж, господин шоу-раннер. Смею надеяться, я не самый последний актёр в этой стране. И уж точно не самый неопытный. Тем не менее мне на площадке необходим режиссёр. Я могу сделать так, могу сделать эдак, могу ещё двадцатью сравнительно честными способами. Нужен кто-то, кто скажет: здесь так, здесь не так. «Боря, вот тут прибавь», «тут убавь»...

– А мне не нужен, – фыркнула маменька.

– Да, я понял вопрос. Здесь много чего происходит впервые. В частности, раньше вы вряд ли работали, не видя камер...

– Да-а! – крикнула маменька. – Это так неудобно, я не могу вам...

– Графиня, я вам сейчас сделаю второе предупреждение. Вы поднимаете руку, я предоставляю вам слово. Так вот, граф, мы впервые используем технологию тотальной съёмки.

Всюду, куда вы ни посмотрите, камеры. Сверху, сбоку, везде. Все камеры заведены на компьютер, компьютер сам фокусирует, сам переключает планы...

– Всё это прекрасно, но я вас спросил о другом...

– Я к этому и веду. Находясь в павильоне, актёры работают непрерывно. Вы, граф, в том числе. Вам-то легче, чем остальным, вы нас покинете через три месяца...

В тот момент я не понял, проговорился ли он случайно или с каким-то умыслом.

– Да, увы: через три месяца после премьеры граф перейдёт в лучший мир. Кстати, ваше сиятельство: если планы изменятся, вы захотите остаться – сценарий в наших руках. В моих руках, строго говоря. Так вот. Даже такой артист, как вы, не сможет три месяца... даже одну неделю, даже двадцать четыре часа не сможет следовать режиссёрской задаче. Поэтому – просто будьте собой. Ведите себя максимально естественно.

– Да, «естественно»?! – встряла маменька. – Посмотрите на него! Почему он всегда нормально загримирован, а я со своим лицом? «Естественным»...

– И здесь, графиня, вы снова будете удивлены. Грим у вас электронный. Физически вам, допустим, никто не уберёт красные прожилки в глазу – только закапывать капли, вы знаете лучше меня. А компьютер – пожалуйста. Электроника уберёт вам морщины, помолодеете хоть на двадцать лет, хоть на тридцать...

Маменька всё это выслушала с подозрением.

– Ну тончик хотя бы? По крайней мере, для главных героев...

– А кто тут главный герой?

– Я!.. и вот ещё эти трое...

– Почему вы уверены? Вы постоянные жители, вы резиденты – не спорю. А вот кто главный... Я, например, считаю, что главный герой – Ферапонт.

Все зашущукались, стали оглядываться на пожилого лакея.

– Графиня Ольга может пойти под венец – и оставить родительский дом. Граф Кирилл Ильич через три месяца после премьеры умрёт от сердечного приступа... к нашему общему сожалению. А Ферапонт вечен. Обратите внимание, как называется фильм. Он не называется «Граф Орлов» или «Графиня Орлова». Главный герой – это дом. Потому что мир нестабилен. Жить страшно. Но Ферапонт зажигает свечи – значит, всё предсказуемо, всё хорошо...

– Демагогия, – отмахнулся Борис Васильевич. – Зритель идёт на актёра. У одного актёра две реплики, «кушать подано». На другом держится действие. Это и называется «главный герой», «главная роль», по крайней мере, всегда называлось...

– В одном вы правы. Всё будет зависеть от аудитории. Как только мы выйдем в эфир, мы будем получать рейтинги – по минутам и по секундам. Кого зритель оценит выше – тот

будет получать больше текста и больше места в эфире. А кто-то из тех, кого графиня считает главными, может уйти...

– Да понятно, понятно, – проворчал Жуков. – Вы уже двадцать раз повторили. Незаменимых нет...

– Так что за звание «главных героев» нужно будет бороться... Всем, кроме Ферапонта.

– А если будут высокие рейтинги, нам прибавят? – игриво спросила маменька.

– Чего тебе прибавить, Люська? – повернулся к ней Жуков.

– Ты-то отыграл сценку – и домой, к молодой жене, а нам тут до полуночи куковать! Ни помыться, ни выспаться...

– Не передёргивайте, графиня. Во-первых, не до полуночи, а до двадцати одного. Во-вторых, на ночь вы можете оставаться здесь, в своих комнатах...

– Да какой оставаться, если тут даже водопровода нет!

– Водопровод очень нужен, – вздохнула Ольга.

– Никакого водопровода, – отрезал грызун, – в тысяча восемьсот тридцатых годах в Москве не было. Равно как канализации.

– И этот наушник постоянно в ухо бубнит, и бубнит, и бубнит...

– Может, выключить... – начал Борис Васильевич.

– ...и током бьётся!

– Графиня, это исключено. В наушнике напряжение настолько слабое, что человек не может почувствовать...

– А я чувствую!

– ...выключить у неё микрофон? – предложил Жуков.

– А чего ты меня затыкаешь?

– Ты же никому не даёшь рта раскрыть!

– Ты вообще молчи! Почему ему можно днём уезжать, а

я должна тут торчать до морковкина заговения?

– Тебе объяснили, Люся, контракт.

– А у тебя что, не контракт?

– У меня другие условия.

– Почему?! Вот я и спрашиваю, почему?

– Ох, Люська, какая же ты, прости господи, дура! Дура!..

– Коллеги, спокойнее, – с удовольствием произнёс голос

в динамиках.

– И жарко! Ужасно...

– В павильоне? Я не замечал. Кому ещё жарко?

– Да никому не жарко, – отмахнулся Жуков, – нормальная температура, просто у некоторых приливы всё никак не заглохнут...

– Хам!

– Так, – резюмировала землеройка. – Если больше вопросов нет...

– У меня есть вопрос, – сказал я.

– На этом общее собрание объявляю закрытым. Резидентов прошу задержаться: граф Кирилл Ильич, графиня Анна Игнатьевна, графиня Ольга, граф Алексей. Остальные свободны.

* * *

Лакеи долго, как будто нехотя, расходились. Наконец, мы остались в зале одни.

– Граф Кирилл Ильич, графиня Анна Игнатьевна, – по сравнению с предыдущим громopodobием голос звучал почти задушевно. – Вся первая серия нашего фильма – бал. Я уже подчеркнул, как для нас это важно. А центр серии, сердце серии – это ваш танец. Вы сорок лет вместе. Вы излучаете любовь и нежность. Зрительницы должны плакать...

– Что за отчество такое плебейское, «Игнатьна», – буркнула маменька.

Борис Васильевич явно хотел съязвить, но пожевал губами и промолчал.

– Ещё одно короткое объявление, и я вас отпускаю. Как я сказал, если у персонажа низкие рейтинги – мы от него избавляемся. Но вы понимаете: герой не может просто исчезнуть из кадра. Зритель должен прочувствовать во всех деталях. Гроб, траур, похороны, семья оплакивает и так далее. Вот, например, старый граф умер. Но мы же не можем заставить Бориса Васильевича трое суток лежать в гробу без движения – это даже физически невозможно. Поэтому все исполнители главных ролей...

– Ага! – Жуков ткнул в потолок. – Всё-таки главных ролей!..

– ...Все вы должны пройти процедуру изготовления маски.

– Какой маски?! Посмертной?!

– Графиня, без драматизма. Обычная пластиковая, силиконовая...

– Без меня!

– Действительно, – Жуков поморщился, – если у вас всё такое продвинутое, электронное, без операторов, без режиссёров – так, может, какие-нибудь технологии? Три-дэ, четыре-дэ?..

– Думали об этом, граф. К сожалению, получается плохо и дорого. На сегодняшний день самая надёжная технология – силикон.

– Ничто на свете! – зарокотала маменька, переключившись в режим Клитемнестры, – не в силах!.. меня принудить!..

– В таком случае, к сожалению, мы будем вынуждены расстаться. Всё, приятно было пообщаться со всеми. Всем хорошего дня.

Щелчок. Тишина.

А я так и не спросил, когда мне дадут поговорить с Мариной по телефону.

9

Собрание было в пятницу. А в понедельник утром, когда

после завтрака мы с Семёном вернулись в комнату, он снял с меня сюртук, жилет, галстук – я остался в нижней рубашке и в брюках, – чтобы я не замёрз, камердинер набросил на меня лёгкий шерстяной плед и в таком виде привёз в бальную залу.

Все остальные тоже были полуодеты: маменька с Ольгой в рубашках и юбках, Борис Васильевич – как и я, в брюках и в нижней рубашке. Впервые мне показалось, что он очень грузный – не то чтобы пузатый, а весь какой-то кубический (что называется, «поперёк себя шире»): сюртук это скрадывал.

В бальной зале нас встретили две гримёрши. Одна средних лет – в джинсах, в рубашке, коротко стриженная; вторая – совсем молоденькая, почти подросток. Между ними не было явного внешнего сходства, старшая обращалась к младшей полным именем (Кристина) и на «вы», но сразу же было ясно, что они – мать и дочь.

На полу был постелен большой кусок целлофана, в длину метров пять, в ширину метра три. На этот целлофан в ряд выставили три стула, усадили маменьку, папеньку и сестрицу – и пристроили рядом меня в моём кресле.

Помню стол с рядами пластмассовых баночек, канистры с водой, тазы, набор пакетиков с порошками. Надо отдать должное господам шоураннерам: я прожил в девятнадцатом веке меньше недели, а уже смотрел на эти пластиковые упаковки, тазы и банки, на целлофан, на короткие стрижки и джинсы, как, наверное, голый Пятница смотрел из кустов на

Робинзона, одетого в меховые штаны.

Взрослая гримёрша врачёбным голосом произнесла короткую вводную речь: нас по очереди намажут силиконом, это не больно, не страшно, многим даже приятно – примерно так, как делают маску для лица, «женщины знают». Силикон немножко холодный, но вы быстро привыкнете...

Маменька театрално вздыхала, ёрзала и закатывала глаза.

– И что, похоже выходит? – спросил Жуков. Мне показалось, он тоже немного нервничал.

– Одно лицо! Мы, – сказала гримёрша, видимо, желая успокоить маменьку, – будем держать ваши ноздри открытыми, с дыханием у вас не будет проблем. Неподвижно сидите и всё. Сначала накладываем силикон – слой за слоем. Поверх силикона кладём гипсовый бинт. Когда он застывает, будет немножко тепло, горячо не будет, будет тепло, приятно – вот чтоб вы знали, это нормально. И, когда схватывается, он, конечно, твердеет – но вам будет казаться, что он сжимается. Это не так, ничего не сжимается, не пугайтесь...

– Нет! Нет! Я не хочу! – закапризничала маменька.

Борис Васильевич с раздражением отмахнулся: молчи, мол.

– Ты чего ручкой машешь? – ощерилась на него маменька. – Сам вон бледный сидит! Ничего, помрёшь – родные на скульпторе сэкономят. Маски – они знаешь какие дорогие?

– Типун тебе на язык, – сказал Жуков тихо.

– Ну что вы, что вы... – заворковала женщина. – Ничего страшного, сейчас сами увидите. Кто самый смелый? Мужчины?..

– Давайте я первая.

Ольга сняла платок, отдала подбежавшей служанке – и осталась в тоненькой белоснежной нижней рубашке с оборками и кружевами. Взрослая гримёрша стала быстро размешивать порошки, а её дочь Кристина подошла к Ольге сзади, расставив руки и развернув перед собой синий целлофан, чтобы замотать её этим целлофаном поверх одежды: казалось, будто она хочет Ольгу поймать. Придерживая целлофан, Кристина не очень ловко, одной рукой, попыталась приспустить с Ольгиного плеча рубашку. Рубашка упала, и обнажилась небольшая красивая грудь. Ольга, ни на кого не глядя, подняла рубашку обратно, немного её подтянула назад, прижала спиной, – всё это спокойно, без суеты, как будто это маленькое происшествие её ничуть не обеспокоило.

– У меня в твоём возрасте был второй, – ревниво сказала маменька.

– Ребёнок? – детским голосом спросила Ольга (думаю, наиграла).

– Какой ребёнок, дурында? Размер. Я вообще девчонка была хоть куда.

– Вот именно, – подхватил Борис Васильевич. – Хоть куда. Знаете, дети, какую букву ей приставляли перед фамилией?

– Не перед фамилией, а перед псевдонимом, – возразила

маменька не без гордости. Её фамилия была Ледовских, а псевдоним – точнее, имя персонажа, которое к ней прилипло, – Леденец. Люська Леденец.

– Да и туда, и сюда... Хоть куда.

В жизни я насмотрелся на полуодетых актрис: за кулисами, в общих гримёрках – и в Школе-студии, и потом на гастролях, на съёмках... Большинство актрис раздеваются при мужчинах спокойно. Некоторые – с удовольствием. Ольга, правда, не была профессиональной актрисой, но была спортсменкой, тоже с детства наверняка привыкла, что тело – её инструмент, она посреди стадиона, перед миллионами телезрителей в прозрачном платье... Но в этот раз, уж не знаю, то ли воздух был наэлектризован, то ли я успел проникнуться девятнадцатым веком, но, когда упала рубашка, я почувствовал, что мне трудно глотать.

Кристина упаковала Ольгу, оставив голыми шею и плечи. Мать Кристины налепила Ольге на голову что-то вроде купальной шапочки – только очень тоненькую, полупрозрачную, на вид как будто из марли, нахваливая при этом форму Ольгиной головы («форма круглая, классическая») и оправдываясь, что вынуждена работать без перчаток: латекс, мол, плохо взаимодействует с силиконом, и даже если где-то поблизости будет латекс, силикон «вообще не схватится». Без макияжа, с бледными веками, почти незаметными светлыми тоненькими бровями, с голой шеей и действительно круглой, цельной, как будто мраморной головой Ольга сделалась

незнакомой, не той, к которой я успел привыкнуть.

Орудую ножницами со скруглёнными концами, Кристина вырезала в шапочке дырки вокруг Ольгиных ушей. Старшая гримёрша разлила по баночкам воду из канистры и, взболтав, начала прямо из баночки поливать Ольгины плечи густой ярко-фиолетовой субстанцией, напоминавшей клей. Субстанция не стекала, а, скорее, сползала по голой коже.

– Боже мой! Мерзость какая, гадость! – передёрнулась маменька.

– Как ощущения ваши? Нормально? Даже приятно, правда? – спросила старшая гримёрша с некоторым раздражением, через Ольгу как бы обращаясь к маменьке: мол, вот послушайте, что она скажет. Думаю, Ольга вполне считала этот посыл, но выручать гримёршу не стала:

– Приятного мало. Холодно.

– Ничего-ничего, сейчас скоро начнёт застывать, и станет тё-ёпленько...

Кристина обмазала этим же фиолетовым клеем Ольгины уши – сначала кисточкой, тонким слоем внутри ушных раковин, а потом деревянной палочкой, такой же, какой доктор прижимает язык («скажите а-а-а»), – так что на ушах образовались неровные фиолетовые бульбы.

– Ты что-нибудь слышишь? – с ужасом спросила маменька.

– Слышу, но глухо.

– Так, начинаем делать лицо: не разговаривать, мимикой

не работать. Глазки закройте...

Гримёрша щедро облила Ольгин лоб. Клей пополз на глаза и на нос.

– А дышать-то как? – вскрикнула маменька.

– Люська, хватит кудахтать!..

– Вот, я оставляю ноздри открытые... Видите? Без проблем она дышит. Если что-то понадобится, – гримёрша нагнулась к Ольге, – вы просто ручкой мне помашите, я дам бумагу и карандаш. Но сами молчите, звуков не издавайте. Всё, закрываю вам рот...

Стала обмазывать Ольгины губы кисточкой.

– Нет-нет-нет, губы не поджимайте! Видите, инстинктивно она поджимает. Расслабьте, расслабьте. Все мышцы должны быть расслаблены, всё лицо. Наоборот, получаете удовольствие. Где вам ещё удастся часок посидеть споко-ойно... споко-о-ойненько...

Мать и дочь работали дружно, и Ольгина голова быстро превратилась в сплошной фиолетовый ком. Даже не совсем ком – человеческие очертания сохранились, – в грубо, как бы начерно слепленную из жидкой грязи голову идола, истукана. Больше не было никакой Ольги: вместо неё рядом с нами сидел безымянный, безликий чалдон.

Но так выглядела только её голова. Плечи и голова. Ниже, под целлофаном, просматривались очертания тела.

Стыдно признаться (вообще на меня не похоже), но я подумал, что сейчас она совершенно беспомощна, беззащит-

на. Её голова покрыта сплошным слоем этого липкого клея. А ниже, под полупрозрачным полиэтиленом, под тоненькой кружевной рубашоночкой... Думаю, такое чувство испытывают насильники. Я постарался всё это от себя отогнать, но в горле как будто остался песок.

– Господи, какой ужас, – бубнила маменька. Ей явно не нравилось, что смотрят не на неё. А я подумал, зачем делать с маменьки маску, если её не сегодня-завтра отправят домой.

Борис Васильевич очень внимательно и напряжённо следил за тем, что делали с Ольгой. Он показался мне старым, намного старше, чем раньше. Мне стало жаль «папеньку», я решил дать ему время освоиться и предложил:

– Следующим ме...

Но он заговорил в ту же секунду, одновременно со мной:

– Меня теперь!

Я обрадовался, когда он мне улыбнулся, – и опять удивился себе, как бы одёрнул себя: что такое? Я взрослый дядька, он мне чужой человек, почему мне так важно его отношение? Неужели только потому, что он «звезда первого ряда»? Или как там сказал шоураннер: «первого эшелона»? «Калибра»?

Закончив с Ольгой, гримёрши оставили её сохнуть и принялись за Бориса Васильевича. Он так сильно сжал челюсти, так побледнел, что главная гримёрша принялась его утешать:

– Ну что-о вы, ну что-о-о же вы переживаете... Видите, ничего страшного... Никто ещё не умирал... Как себя чув-

ствуете? Хорошо?

– Да, да, – сказал Борис Васильевич сквозь сжатые зубы. – Делайте.

– Ну вот видите... Все хорошо переносят...

Через пять минут и Борис Васильевич превратился в памятник, фиолетовый надолб. Маменька продолжала стонать и метаться.

Принялись за меня. При первом прикосновении слизь оказалась очень холодной и липкой. Я принялся: слабо пахло резиной и поликлиникой. Когда по макушке стали сползать комки, моим первым движением было – поменять позу, или даже как-нибудь подхватить... но я подумал, что не моё дело, пусть падает... Скомандовали закрыть глаза. На брови, на веки полилось клейкое и холодное. Сразу же захотелось моргать, но сверху нагромодили ещё, придавили, я ощутил сквозь слои, как разглаживают этой докторской палочкой... и вдруг стало очень спокойно.

Звуки доносились издалека, как будто я был под водой. Полная темнота – не как с закрытыми глазами днём, когда веки немного просвечивают, а словно самой кромешной и непроглядной ночью. Сверху, на лбу, масса, которой я был покрыт, уже не казалась холодной, наверное, она согрелась о мою кожу. Меня накрыло чувство покоя и защищённости – окружило, осыпало густым снегом... Во мраке мерцали бледные линии, кратеры, горизонты... В тонкой рубашке под целлофаном было немного зябко и сонно. Эта зябкость, зыб-

кость, радужное мерцание что-то ужасно напоминали, что-то, что я пытался вспомнить совсем недавно, почти уже было вспомнил...

И вспомнил!

10

Я в дедушкиной квартире. Раннее летнее утро. Мне восемь лет... семь? Я один в ванной комнате. Приоткрыто окно. Наверное, оно было открыто всю ночь, в ванной холодно. Может быть, ещё не лето, а конец мая, ночи ещё холодные. За окном много листьев (квартира на высоком втором этаже). Листья шевелятся на ветру. Снизу тёмные, сверху поблёскивают на солнце. Тёмное солнце, как бывает именно ранним утром. Я сижу на большом унитазе, он сначала холодный, потом ничего – но если поёрзать, сдвинуться с нагретого места, то снова холодно. Я сижу осторожно, боюсь провалиться, унитаз слишком большой: да, наверно, мне не больше семи – и в то же время не меньше пяти-шести лет, иначе не было бы никакой взрослой ванной, а был бы детский горшок под кроватью. Может быть, я забыл опустить пластмассовое сиденье (в детстве всегда забывал) и сижу попой на голом фаянсе.

Вдруг я вижу: рядом со мной на кафеле, на стене – мерцающая разноцветная ленточка, фиолетовая, голубая... Она сминается и разглаживается, как гусеница, бледнеет, почти

исчезает, потом наливается светом, становится яркой, горит, голубая, зелёная, радужная... Перемигнула, пропала и появилась. Это мерцание и шевеление как-то связано с шевелением и шуршанием листьев.

Ленточка небольшая, с полпальца, но совершенно волшебная. Это чудо.

Края нечёткие, немного смазанные, растушёванные. Они шевелятся под шум ветра и веток, как гусеница шевелит множеством волосков.

В ванной темнеет – и она гаснет. Светлеет – и гусеница появляется снова, уже чуть ближе к границе кафельной плитки, как будто немного переползла. Я чувствую, что существует какая-то связь между гусеницей и солнцем, и листьями за окном... С трудом отрываю взгляд от гусеницы, поворачиваюсь к окну – и на краю зеркала, которое висит над раковиной, вижу огненный перелив: огненно-синий, огненно-фиолетовый, драгоценный, алмазный. В грани зеркала преломляется солнце.

Если голову наклонить, цвет меняется: как бы вылупливается (вылупляется?), искрами проступает и расцветает малиновый, перетекает обратно в синий... Синий – самый сплошной, самый яркий, как дедушкин лазурит.

Тени листьев беззвучно нашёптывают, свет тускнеет... Ещё минута – и больше сияния нет. Гусеницы тоже нет. Но внутри сохраняется обещание счастья. Уверенность, что вот-вот, не сегодня-завтра случится что-то волшебное, неве-

роятное...

* * *

Не помню, чтоб я кому-то рассказывал про алмазную гусеницу. Я не пытался её снова подкараулить. Да если бы и пытался – вряд ли у меня были шансы. Слишком много условий должно было совпасть: время года и время суток; угол, под которым солнечный луч падал в зеркало; нужный просвет между листьями; ветер, чтобы листья зашевелились... Но этот радужный, райский отсвет долго окрашивал мои мечты. Сколько я себя помню, всегда был уверен, что моя жизнь – может быть, не сейчас, а чуть позже – но обязательно засверкает, как фейерверк, станет сплошным лучезарным праздником и триумфом.

Сейчас-то я понимаю, что в детстве и в юности мою жизнь и впрямь трудно было назвать заурядной. Как вы уже знаете, когда мне было семь лет, я играл в «Счастливом принце», вместе с И. С. Саввиной и И. М. Смоктуновским. Смоктуновский был Профессором Птичьих Наук – правда, он вышел всего несколько раз, хотя в программках его всегда писали первым составом. Если честно, я его почти не помню. А вот Ию Сергеевну Саввину помню прекрасно. Она играла мою маму, швею. Я был опасно болен (по роли). Перед спектаклем мне мазали щёки блестящим гримом, мочили, встрёпывали и пшикали лаком волосы, меня всё это веселило и

возбуждало. На сцене я очень долго (на самом деле минуты две) неподвижно лежал в постели, потом приподнимался и слабым голосом просил у матери апельсинов. За кулисами ждал, когда спектакль кончится, мы с Ией Сергеевной пойдём кланяться и весь громадный зал будет нам аплодировать.

Потом играл в «Сказке о потерянном времени» – на другой сцене, на улице Москвина – красное здание вроде боярских палат, в детстве оно казалось мне сказочным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.